

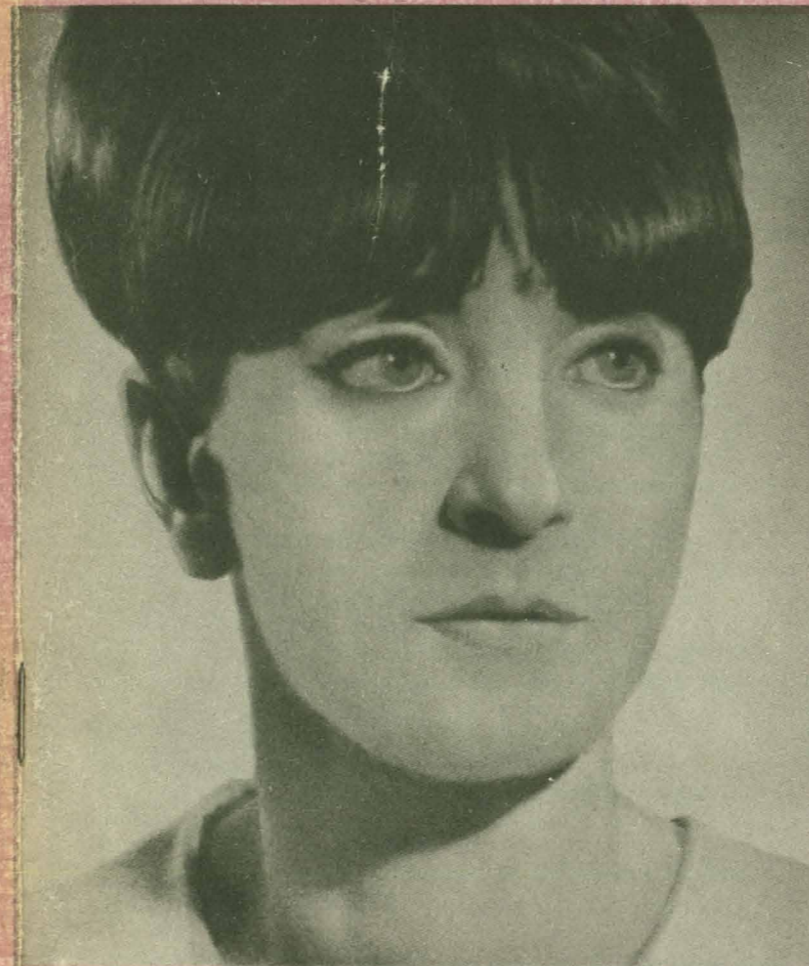
21 к.

14

70782

№3 (625) · 1969

РОМАН ГАЗЕТА



КЛЕР ЭЧЕРЛИ

ЭЛИЗА,
или НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ

КЛЕР ЭЧЕРЛИ

Кто не знает Парижа! Кто не хотел бы увидеть его прекрасные бульвары и площади, знаменитую Эйфелеву башню и Нотр-Дам... Но, помимо тысячи раз описанного праздничного, „туристского“, есть и другой Париж, Париж простых рабочих людей, для которых его жизнь — не праздник, а будни, труд, добывание куска хлеба, арена подлинной драмы. Таким предстает Париж в романе о рабочем классе современной французской писательницы Клер Эчерли „Элиза, или Настоящая жизнь“.

Клер Эчерли родилась в 1934 году в семье докера в Бордо. В 1940 году ее отец был заключен гитлеровцами в концлагерь, где в 1942 году расстрелян. С ранних лет Клер пришлось зарабатывать себе на жизнь. И об этой своей нелегкой судьбе ей хотелось рассказать. День за днем, отрывая перед работой дорогие часы от сна, Клер писала свою книгу.

В 1967 году в Париже ее роман был опубликован. Во французской литературе прозвучал голос свежий и сильный. Он был услышан — в том же 1967 году роман получил премию „Фемина“, одну из литературных премий, присуждаемых ежегодно во Франции. Книга эта не претендует на какой-то очередной переворот в искусстве, чем в наши дни так злоупотребляют коллеги Эчерли в литературе. Просто хлебнувшая горя женщина решила поведать о своем трудном пути, о своей трагической любви и об изнурительном труде на заводском конвейере.

Общество „всеобщего благоденствия“ — так именуют нынешний капитализм современные буржуазные ученые во множестве трактатов и выступлений. В противовес им Эчерли пишет книгу о капитализме без прикрас, о вопиюще тяжелом положении рабочих в этом обществе, книгу, полную гневного пафоса.

Героиня романа Клер Эчерли — француженка Элиза — посмела полюбить алжирца, и чистое светлое чувство явилось причиной для преследования. Элиза и ее возлюбленный буквально затравлены.

Трагизм в романе Клер Эчерли — примета повседневности, примета жизни обездоленных тружеников в буржуазном обществе. Обездоленных не потому, что им угрожает абстрактная злая судьба, представляющая, по мнению модных на капиталистическом Западе философов, основу бытия каждого человека. Нет, в романе зло выступает конкретно, социально определено, его облик не скрыт метафизическим туманом: таков облик капитализма в наши дни.

Героям многих произведений современной французской литературы не приходится думать о том, откуда у них берутся деньги... Перед Элизой эта проблема возникает неотвратимо, в силу жизненной необходимости. И все это усугубляется ее несчастной любовью к арабу. Такой гордиев узел смогла разрубить только смерть. Но гибель Арезки не разрешила конфликта, наоборот, чрезвычайно заострила его, завершив воспитание социального чувства героини романа.

„Настоящая жизнь“ в понимании Клер Эчерли — это приобщение человека к другим людям, к их страданиям, к общественной борьбе. Правда, Элиза не превращается пока в активного политического деятеля, но весь ее жизненный опыт говорит о том, что она придет в ряды революционных борцов.

Автор ведет рассказ безыскусственно, в форме лирического дневника, без какого-либо приукрашивания персонажей. Манера эта в данном случае и уместна и эффективна. Повествователь как бы подключает читателя к тому процессу поисков настоящей жизни, который составляет содержание романа.

Писательница отнюдь не старается навязать читателю какие-то выводы. Но, заставляя его пережить все перипетии нелегкой судьбы своей героини, она доказывает, что путь к настоящей жизни лежит через борьбу.

Л. АНДРЕЕВ

РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927 г.

№3 (625)
1969



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

КЛЕР ЭЧЕРЛИ ЭЛИЗА, ИЛИ НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Главное — не думать.

«Главное — не двигать ноги», — говорят человеку, если у него перебиты ноги. Не думать. Отгородиться от прошлого, от воспоминаний, всегда неизменных, сегодня все тех же, что и вчера. Забыть безвозвратно ушедшее. Не думать. Не перебирать последних фраз последнего разговора, слов, которые разлука обрубила навсегда, упорно твердить себе, что не по сезону тепло, что уже поздно, а жильцы из квартиры напротив еще не вернулись; сосредоточиться на мелочах, заинтересоваться тем, что происходит внизу, на улице. Прохожие шагают навстречу друг другу. В барах, вероятно, битком набито, в этот час там всегда не протолкнешься. Сегодня вечером другие женщины будут счастливы на земле, сорвавшейся с якоря, на плавучем острове, в комнате, где двое. Отойти от окна, спуститься? На улице и меня ждут случайные встречи, ищущие взгля-

ды мужчин. Не люблю случайных встреч. Хочу пуститься в плавание на судне, которое никогда не зайдет в гавань. Погрузка, выгрузка — это не для меня. Образ судна я позаимствовала у брата, у Люсьена. «Обещаю тебе, что наш корабль проложит путь через моря, и никто на свете не осмелится последовать за ним». Он писал это Анне. Наверно, уже семь часов, тепло, настоящий июнь, в такие вот вечера всегда думаешь: «Наконец-то лето...» В семь конвейер останавливается. Сейчас все ринутся в раздевалки. Наступает моя последняя ночь здесь. Завтра я оставлю эту комнату. Явится за ключом Анна. Нужно будет благодарить ее. Она не выразит удивления, она никогда не задает вопросов. И говорит только в настоящем времени. Не то чтоб она была деликатна или застенчива, просто глубоко безразлична. Люсьен хотел, чтоб мы дружили, но ей не нужна ни наперсница, ни советчица, ни покровительница. А я отвыкла. В тринадцать лет у меня была одна подруга «до гро-

ба», в пятнадцать — только друзья, начинавшие относиться ко мне критически. Впрочем, мне уже нужен был только Люсьен. Как раз в тот год я отдала ему мою комнату. Раньше брат спал в кухне на кровати, которую мы складывали по утрам. Стремясь завоевать его дружбу, я уступила ему то, о чем он больше всего мечтал, — эту квадратную комнату с окнами во двор, до полудня залитую солнцем. Когда бабушка увидела, что мы переносим вещи, она рассердилась. Чтоб успокоить ее, я обещала спать с ней вместе в большой кровати. Она обрадовалась, она любила разговаривать ночью, в темноте. Мы поселились у нее за год до войны. В сороковом, когда показались первые немецкие грузовики, мы как раз переходили Каменный мост. «Боши», — сказала я Люсьену. Он подхватил слово и повторял его повсюду. Пришлось внушить ему, что это слово лучше забыть. Мы тогда учились в коллеже. По вечерам мы ссорились, я отпускала ему пощечины, он рвал мои тетради. Мы писали «V»¹ мелом на наших башмаках. Недопадали. Бабушка отказалась послать нас в деревню, не хотела расставаться.

Так и получилось, что мы не упустили ни одной бомбежки, ни одной очереди у бакалейной лавки. Каждое утро мы выходили вместе с Люсьеном, и из осторожности я не расставалась с ним до самых дверей его школы. Война кончилась, а мне по-прежнему хотелось провожать его. Он злился, а я за него цеплялась. Он шел быстрее, и я ускоряла шаг. Мы пересекали площадь Виктуар, пробираясь между крикливых цветочниц. В каждой витрине красовались генералы-победители. Люсьен останавливался, рассматривал. Я тоже останавливалась. Выждав подходящую минуту, он срывался с места и убежал, чтоб отделаться от меня. Я находила его циничным и коварным. И решила подать ему нравственный пример.

Потихоньку я стала тешить себя мелочной и суровой набожностью. Бабушка была тут ни при чем. Она научила нас молитвам, понятиям «грех» и «жертва», но ее вера, как и ее философия, умещалась в словах, которые она любила повторять: «У бога поварешка большая, всем хватит». А умиления и восторги снизили на меня в саду благотворительного общества, зеленом, как оазис, где по четвергам и воскресеньям под сенью спокойных монахинь развилось во мне пристрастие к цветам, вышитым скатеркам, бледным лицам и чистым душам.

Бабушка еще ходила убирать несколько контор в порту. Ее главной заботой оставалось прокормить нас, что было не легко. Люсьен, с тех пор как у него появилась комната, по вечерам запирался. Я жалела, что уступила ему комнату. Спать с бабушкой

становилось все тягостней. В шестнадцать лет я бросила колледж и начала работать. Соседи лавочники посоветовали мне взять напрокат машинку и самой научиться печатать, поскольку средств, чтоб окончить курсы, не было. Потом, накопив денег, я смогу найти что-нибудь получше. У меня не было ни призвания, ни честолюбия. Я мечтала принести себя в жертву Люсьену. Никто не руководил мною, и я считала, что мне еще повезло по сравнению с другими девочками нашего квартала, которые в пятнадцать лет шли на завод.

По утрам я занималась уборкой и покупками. Я гордилась тем, что когда в полдень Люсьен возвращался домой, он находил накрытый стол, прибранные комнаты, мирные лица, — воплощение порядочной жизни, как я ее себе представляла, этот образ должен был запечатлеться в нем, стать привычкой, а потом и потребностью.

Завтра она постучит тихонько:

— Это Анна.

Я открою, мы поздороваемся.

— Вы уезжаете? Вам больше не нужна комната?

— Нет. Я уже сложила вещи.

Подойдет самый трудный момент: выражение благодарности. Торопясь покончить с этим, мы обе постараемся не быть многословными. Заговорит ли она о Люсьене?

В четырнадцать лет у брата было два увлечения: его друг Анри — увлечение благородное, — и ролики, которые он надевал, едва вернувшись из коллежа. В течение нескольких месяцев каждый вечер мы слышали постукивание роликов вдоль тротуара. В воскресенье он вставал рано, торопливо завтракал, в полдень прибегал домой, чтоб вновь исчезнуть до вечера и, придя, рухнуть в постель, дрожа от усталости. Однажды утром, из любопытства, я перешла за ним следом площадь Кенконс. Холодный туман размывал контуры крыш, ветви черных деревьев были покрыты инеем, фонари еще горели. Мне стало тревожно за Люсьена, я решила увести его домой. Он стоял одиноко в ледяном тумане: короткое песочное пальтишко, гольфы выше колен, на ногах ролики. Свой красный шарф он снял и бросил его на землю около дерева. Я глядела на Люсьена: глубокие впадины под коленками, покрасневшая от холода кожа голых ляжек, вытянутые руки, сейчас сорвется с места. Я вдруг поняла счастье бродить в тумане, сладость одиночества в спящем мире, ощущение свободы, опьянение стремительного, не встречающего препятствий бега, когда холод омывает глаза, леденют руки, горят ноги. И представила себе, как он возвращается в кухню, где бабушка вяжет, я читаю, а он слоняется между нами.

Несколько раз после обеда я пыталась сопроводить его. Сидя среди матерей, я терпеливо ждала шесть часов, держа на коленях еду, приготовленную для него, выслушивая родительские излияния. Но и от этой радости мне пришлось отказаться, так как на обратном пути он корил меня, что я слежу за ним, шпионю, делаю ему назло, угрожал сменить место тренировок или вовсе не выходить из дому, если я буду повсюду за ним таскаться.

Они с бабушкой часто пререкались. Она мелочно придиралась, он дерзил. Некоторое время он еще рассказывал нам об Анри, но стыдливо, изменившимся робким голосом. По этой сдержанности я чувствовала, до какой степени Люсьен любит его. Однажды, у выхода из коллежа, я познакомилась с Анри. Он был старше Люсьена, держался холодно, что придавало ему значительность. Говорил он медленно, важно. Я перед ним робела, хотя ему было всего семнадцать лет. Я, должно быть, показалась ему девочкой. В двадцать лет я и правда выглядела очень юной. Я гордилась своей бесцветностью, одевалась в блеклые тона и черпала удовлетворение в том, что я «не такая, как другие».

— Ты кажешься исключительной только себе самой, — сказал мне Люсьен позднее.

Приближался день школьного спортивного праздника. Его проводили в последнее воскресенье мая. Анри, натренированный атлет, готовил гимнастические упражнения, и брат надеялся блеснуть. Он тренировался по вечерам, когда мы были внизу. И Люсьен верил, что Анри выберет его. Он говорил мне об этом небрежно, как обо всем, чем дорожил. Но он не удостоился. Анри предпочел некоего Казалья, очевидно более ловкого, чем Люсьен.

— Я взбираюсь на трапецию, Казаль выделяет свои акробатические трюки, а я стою рядом, как пешка, и только два раза помогаю ему встать. Я не мебель, откажусь, и все.

Тем не менее он согласился. Он приходил домой после репетиций заносчивый и жалкий. Он не хотел успеха Казалья, не хотел видеть, как тот раскланивается под аплодисменты и как Анри, похлопывая его по плечу, ведет выпить после триумфа.

Он вскарабкался на перекладину и застыл там в своей голубой майке. В тот момент, когда Казаль, поднявшись туда же, начал упражнения, мы увидели, что Люсьен отступает к краю доски, точно забыв об опасности, и падает. Все закричали, вскочили. Казаль спустился, дрожа. Люсьен взял свое. Казаль вышел из игры. Брат лежал три месяца с переломом левой ноги, трещиной в запястье, ранами на голове. Экзамены он не сдавал и в коллеж больше не вернулся. Анри его не навещал; лишь однажды прислал открытку с извинениями и добрыми пожеланиями.

Ни писем, ни гостей, никого, кроме нас троих. Неизменный вид из окна — камни домов. Он читал. Ему нужно было много книг. Играл в шашки. Курил. По утрам я сидела с ним. Он признался мне, что страстно желал не позволить Казалью блеснуть. Тронутая доверием, я не осмелилась высказать порицания. Незабываемые недели. Он говорил со мной, подзывал, прочтя что-нибудь особенно волнующее, смеялся, пытался привить мне свои вкусы, свои идеи, которые часто меня шокировали. Кровать его была завалена газетами, где жирными буквами было напечатано название Мао-Ке. Там шло сражение¹, но меня это не тревожило. Ни разу он не открыл тетради, никогда не упоминал о возвращении в коллеж. Иногда он говорил: «Вот выздоровею, встану на ноги и завербуюсь». Бабушку это повергало в ужас, она уже видела его на рисовых полях Индокитая — она говорила: «Китай». Он выздоравливал медленно, хандрил всю зиму.

Нашим нежным отношениям пришел конец. Снова он проводил дни, запершись и угрожая нам при малейшем замечании:

— Если будет так продолжаться, я завербуюсь...

На стену в своей комнате он повесил карту с крохотными флажками, трехцветными и черными. На бабушку это произвело сильное впечатление, она уже не смела ворчать. Вечерами, когда он уходил, я знала, что он глядит на корабли, на воду и тонущие в ней огни порттовых фонарей. Денег у него не было, и он редко просил их у нас.

Через два года после несчастного случая здоровье его все еще оставалось хрупким. Он не завербовался, не уехал, он женился на Мари-Луизе.

По утрам, когда Люсьен входил, я отворачивалась. Он брюзгливо здоровался. Его злило наше присутствие, взгляды. Он хотел бы, чтоб мы были безразличны, слепы, чтоб его появление в кухне проходило незамеченным. Еще маленьким, пробуждаясь и встречая наши улыбки, он отбрыкивался: «Нет, нет...»

Наступали тягостные минуты: его приход, гнетущее настроение. Только бы не ошибиться, найти жест, слово, чтобы разрядить мрак. Ему было невозможно встать и проделать при нас весь интимный утренний ритуал. Я пыталась вообразить его свежевывытым, выходящим с улыбкой из ванной. Я исчерпала все средства: мягкость, веселье, подшучивание, я хотела любой ценой сделать приятным этот первый час, проведенный вместе. Я нуждалась в атмосфере покоя и доброжелательности и пыталась приобщить к ней Люсьена.

¹ Имеется в виду война, которую Франция вела в Индокитае.

¹ Первая буква слова «Victoire» — «победа».

Как-то я предложила ему работу в одной из фирм, для которых печатала. «Еще чего...» — оборвал он меня с презрением, свойственным людям не работающим и живущим в ожидании занятия, их достойного. Он был поглощен одним: своей новой любовью. У него не было приятелей, которые обычно иронизируют, высмеивают, опошляют первые желания, порывы, все то, что в восемнадцать лет понимается под словом любовь, и он непомерно возвеличил свое чувство. Пылкая фантазия и полное безразличие ко «всему остальному», как он выражался, отгораживали его непроницаемыми стенами, предохраняли от нас. Когда после мартовских дождей открылись окна, ранним утром возникла Мари-Луиза. Сначала тень, смутный контур, потом, с приближением лета, лицо, позолоченное лучами невидимого солнца, черная челка.

Бабушка наткнулась на них однажды вечером, когда они целовались в подъезде. Она рассердилась и посоветовала Люсьену искать себе девочку где-нибудь подальше.

Я часто шарил в его комнате, в белье. Но у него царил хорошо организованный беспорядок, и он мог, ничем не рискуя, спрятать что угодно. Карта на стене покрывалась пылью. Он вовсе перестал выносить нас, изводил грубостью и, если разговаривал с нами, что случалось редко, — пускался в пламенные разглагольствования о том, сколь гордится своим положением угнетенного.

— Да, но ведь ты, Люсьен, делаешь, что тебе вздумается. Правда, до сих пор ты предпочитал ничего не делать.

Это его задело. Я поняла по глазам. Он с удовольствием ударил бы меня.

В подобных случаях он поворачивался и шел к себе. Устремлял взор на окно Мари-Луизы. Прижимался лбом к стеклу, ждал, когда она появится, делал ей знак и уходил из дому.

В сочельник он оделся засветло.

— Ты не будешь ужинать с нами?

— Буду, только забегу к приятелю.

— У тебя завелся приятель?

— Да, завелся.

Мы долго ждали. Рождественский вечер, очарование ароматов кухни, где до последнего момента с кастрюль не снимаются крышки, а в духовке ждет сюрприз, — все это утратило без него всякую прелесть.

— Он, должно быть, с этой, из дома напротив, — сказала бабушка.

И принялась вспоминать усопших, поедая сюрприз.

После праздников я решила, я пошла в коллеж Сан-Никола к директору. Люсьен учился там в первых классах, поскольку приход помещал, как правило, сирот в одну из своих школ. Я рассказала, что происходит с братом. День спустя директор написал мне, что

предлагает Люсьену место надзирателя в вечерние часы. Это все, чем он может помочь. Через некоторое время он его вызовет.

Получив письмо, Люсьен прочел и перечел его, потом скрылся в своей комнате. За столом он не сказал ни слова и ушел как обычно. Вечером я спросила его:

— Ты утром не получил ничего важного?

Он недобро взглянул на меня.

— Так это ты? Вполне в твоём стиле. Может, вы оставите меня в покое? Я — надзиратель, ты отдаешь себе отчет? Если нужны деньги, так бы и сказали, я мог пойти в порт, на завод...

Тем не менее он пошел в школу.

В конце месяца он принес нам свой конверт, положил на стол.

— Что это? — спросила бабушка.

Она открыла и улыбнулась:

— Твой первый заработок!

Он испугался, что за этим последуют трогательные излияния, и ушел.

Однажды вечером, после ужина, когда бабушка еще сидела в полудреме, за столом он сказал ей:

— Послушай, тут есть одна девушка, ты знаешь кто. Я хочу жениться. Теперь я работаю, я все продумал.

Сначала бабушка смеялась, потом угрожала, потом умоляла и, наконец, в одно прекрасное воскресенье приняла Мари-Луизу и ее отца. Тот перечислил всех, кто у него на иждивении, и предупредил, что не сможет ничем помочь молодым. Воспрянув духом после этой беседы, напоминавшей скорей тяжбу, чем стговор, бабушка заключила: «Ну, не в последний раз видимся, соседи все-таки».

Весна была холодная. Утренники одевали сквер изморозью. Я до мая не расставалась с пальто. Оно пахло мокрой псиной, залубеное от дождей и постоянной сушки перед плитой. Дома не прекращались ссоры. Холодные рассветы, тусклые краски города под негреющим солнцем, дни, катящиеся под уклон в липком тумане, и это тяжелое пальто, которое надо снова натягивать каждое утро; озлобленное упорство Люсьена, его взрывы ярости и молчание, скрежет кочерги в плите, когда бабушке уже нечего больше сказать; наше бессилие, полный крах, облупленная штукатурка коридора, которая тащится за нами до самых тюфяков, входная дверь, захлопывающаяся от порыва ветра, — постучишь три раза и стоишь под дождем, отвечаешь, задрав голову, на «вы к кому?». Я задыхалась от безнадежности, от ощущения, что увязла в тине, я стояла с глазами, полными дождя и слез, с оледенелой шеей и ждала какой-то несбыточной помощи. Такая была у нас весна.

«Жить своей жизнью, забыть о нем». Я пыталась, день, другой. Начиналось это

с наведения порядка. Я переключивала свои вещи. Брать их в руки, находить им новое место, — иллюзия перемен. Но надо было жить. И все шло снова, как заведено, мной заведено. Я следила за Люсьеном и страдала из-за него. Однажды он вернулся рано, в восемь вечера. Дни увеличились, еще не стемнело. Он устало сел спиной к окну.

— Тебя так выматывает работа? — спросила бабушка. — Ложись пораньше. Бери пример с сестры, она в десять часов всегда уже в постели. А я все же надеялась, Элиза, выдать тебя замуж раньше, чем твой брат женится...

Я вздохнула. Он пристально посмотрел на меня и неожиданно подмигнул, указав на дверь своей комнаты, потом встал, потянулся и, не отрывая от меня взгляда, скрылся в ней. Когда я присоединилась к нему, он засмеялся, потирая руки.

— Говори, говори! — сказал он невидимой бабушке.

Но нам тут же стало неловко, мы не знали, что нам сказать друг другу. Украдкой он посмотрел на окно. Может, ему уже надоело мое присутствие.

— У тебя и правда утомленный вид. Работа?

Он рассказал мне о классе, где был надзирателем. Сначала ребята его полюбили. А теперь они устали от него.

— Там так сумрачно, тоскливо. С кафедры мне виден только клочок неба. Когда я лежал после несчастного случая, я с этой кровати тоже не видел ничего другого. Целые дни я не отрывал от него взгляда. Я различал чуть ли не каждую крапинку на небе, у меня в глазах рябило.

— Это позади, — сказала я, чтоб его ободрить.

— Знаю. Это не повторится. Я был точно в стеклянном шаре, все меня видели, никто не слышал. А я хотел одного — разбить стекло, чтоб кто-нибудь меня выслушал.

Я подумала: «Уж не Мари-Луиза ли тебя услышит?» Но вслух не сказала, не смела. Он вынул из кармана канадки скрученную газету и развернул ее.

— Хочешь? Я тебе оставлю, тебя это наверняка заинтересует.

— У меня сейчас совершенно нет времени читать, — сказала я.

И тут же пожалела. Он разочаруется во мне.

— Дай газету. Новая? Я никогда ее не дела.

— Новая и очень значительная.

— Да? — удивилась я.

— Она выступает против войны.

— Какой войны? Против войны все.

— Ты думаешь? Ты разве не знаешь, что мы вот уже пять лет воюем?

— Ну, так это в Индокитае!

Помню, каким легкомысленным тоном я это

произнесла. Далекая, не бьющая в глаза война, с невинными целями, в ней было даже нечто успокоительное — доказательство здоровья, переливающихся через край жизненных сил.

— Ладно, — сказал он, точно поняв, что зря теряет время. — Пора спать.

— Когда ты уедешь, я займу твою комнату.

— Куда уеду?

— Ты сам говоришь, что хочешь либо жениться, либо уехать. Хоть ты и раздумал, видно, завербоваться, но в конце концов ты так или иначе ускользнешь отсюда.

— А ты нет? Бабушка уже стара; когда ты останешься одна... У тебя никогда нет желания уехать?

Он снимал с себя свитер, и голос его звучал приглушенно. Стянув свитер с головы и не вытаскивая рук из рукавов, он сел возле меня. Я подбирала слова, стараясь не произнести имя Мари-Луизы. Кто знает? В один прекрасный день его память наткнется на мои слова, как на цветы, засушенные в книге.

— Настоящая жизнь, — сказал он мягко, — похожа на тебя. Покой, мир в душе. Я тоже хочу умиротворения. Поверь мне, Элиза, я хочу жениться, чтоб жить именно так. Я уверен, что буду счастлив, еще счастливее, если говорить точнее. И тебе станет лучше, и бабушке тоже.

Ему удалось меня растрогать. Он знал, как я чувствительна к этим картинам тихой, простой, порядочной жизни.

После клятв: «никогда не дам согласия», после слез, сцен, угроз бабушка сдалась. Устав от яростных споров, от мрачной мины Люсьена, понимая, что ей не удастся его переубедить, боясь, как бы он не выкинул какой-нибудь глупости, она предпочла, взятая измором, сказать ему однажды вечером, наливая суп:

— Поступай как хочешь, женись, оставайся, уезжай, — я на все даю согласие.

Она села и облегченно заговорила о другом.

Когда Люсьен сообщил нам с усталым и грустным видом, что все формальности выполнены, она приняла это спокойно. Но, оставаясь наедине со мной, часто плакала. Она великодушно спустилась с нашей лестницы и поднялась на третий этаж дома в глубине двора. Там было договорено, что Мари-Луиза не уйдет с работы и жить молодые будут у нас. Мы были поставлены перед свершившимся фактом. Дата была назначена, и бабушка едва успела почистить свое черное платье. Накануне венчания она завила волосы. В свадебном кортеже именно она была самой заметной фигурой: глаза ее блестели, сдерживаемое возбуждение заменяло косметику, она была вся в черном — платье, чулки, туфли, шляпа — низко на груди приколота камея. Ее выделяло нечто неуловимое, неосоздаемое, как аромат; умение держаться, что ли. Говорила она мало,

ела и пила сдержанно, это она-то — такая прожорливая дома. На венчании после гражданской церемонии нас осталось семеро. Пономарь зажег всего одну лампу. Аббату пришлось прервать молитвы, попросить его добавить света.

Родители Мари-Луизы уехали в тот же вечер на сбор винограда. На несколько дней Люсьен с женой обосновались в их пустой квартире. Я легла в комнате брата с ощущением, что сжимаю в объятиях нечто, навсегда от меня ускользнувшее. Я уже успела забыть, что во дворе совсем иные шумы и запахи, чем на улице. До полуночи парни свистом вызывали друг друга, их подкованные каблук стучали о цемент ступеней, люди переговаривались через окна, и потрескивание кипящего масла на сковородах жильцов, ужинавших поздно, возбуждало аппетит.

Странной они были парой. Она вставала рано и около семи уходила на свою кондитерскую фабрику, где до вечера стояла у машины. Когда она возвращалась, Люсьена уже не было. Она ждала его у себя в комнате, читая иллюстрированные журналы. Иногда, едва вернувшись, она причесывалась, пудрилась и отправлялась встречать его к площади Виктуар.

С нами Люсьен не общался вовсе. Я первой заметила, что предвидится ребенок. Сказала бабушке.

— Можешь поверить, я этого ждала... Ох и натерплюсь я еще с этим парнем. Надо сказать, что девчонка висла на нем. Заварил кашу, пусть сам и расхлебывает, пусть теперь зарабатывает на жизнь.

— Ты любишь Мари-Луизу?

— Она ничего, я ждала худшего.

Я, разумеется, ее не любила. Я даже радовалась, видя, как она подурнела, отяжелела.

Пришла осень: порывы дождя, первые заморозки, кофе в четыре часа, когда на улицах зажигается свет. Все знакомо, привычно, наперед известно. Жизнь — моя жизнь — раскладывалась на четыре периода, четыре времени года, едва уловимо менявших механический ритм повседневности. Но эта осень, бок о бок с чужой, ненавистной мне женщиной, была самой несчастной в моей жизни. Тогда я еще не знала, что эта осень последняя перед тем, как дрогнет наша телега и, сначала медленно, а потом все быстрее вращая колесами, вывезет нас к откосу, откуда наше существование покатится кувырком вниз.

Когда мы собирались все вместе, Люсьен был нарочито вульгарен. Я заметила, что, оставшись наедине с Мари-Луизой, он менял и тон, и предмет разговора. Стены, слишком тонкие, пропускали их слова. Поев, Люсьен вставал, бросал салфетку и с порога своей комнаты свистом подзывал Мари-Луизу, которая, смеясь, шла за ним. Дверь захлопывалась, они продолжали смеяться. «Они смеются надо

мною...» Бабушка выслушивала мои жалобы с недовольным видом. Она очень переменялась за последние месяцы. Припухли веки, пожелтели глаза, и вдруг оказались огромными уши.

Мари-Луиза всегда одобряла Люсьена. Иногда я жалела ее. Существо примитивное, нетребовательное, имевшее обо всем самые пошлые представления, она, увлекшись Люсьеном, попала к нам, резонерам и вопрошателям, беспокойным, неудовлетворенным, неустойчивым. Наши проблемы — и мои, и моего брата — она считала, разумеется, своего рода тягостной манией. Но ничего не попишешь, ради Люсьена она готова была пройти и через это! Однако наши слова, наши идеи в конце концов наложили отпечаток и на нее. Сначала она повторяла их, не вникая, — она была создана, чтоб за кем-нибудь следовать, — потом, по привычке, стала считать их своими.

Люсьен читал множество газет. Я подбирала те, что валялись, иногда также и книги, которые он забывал на кухне.

Я читала, и спадала густая завеса. Точно я слушала музыку. Развиваться, понимать, проникать в мир слов, следовать за фразой и ее логикой, познавать. Я испытывала физическое наслаждение. Я осознала смысл слова «расти». Я завидовала Люсьену, пропадавшему в библиотеках. Я была упорна, преодолевала трудности, и точно на канве со сложным узором, в каждом стежке приоткрывался для меня весь рисунок. «Хорошо бы поговорить с кем-нибудь». Никто не знал обо всей этой радости, копившейся во мне. И не было надежды встретить того, кто сможет прочесть мои мысли.

Газеты и книги Люсьена будоражили меня. Их страшная логика разоблачала порочность всего, что прежде казалось мне естественным.

Это касалось и лично меня. Я поняла свое положение и ощутила гордость. Контур событий, происходивших вокруг меня, обрели четкость: в порту все остановилось из-за забастовки, докеры держались уже двадцать три дня; шел суд над женщиной, которая легла поперек рельсов перед составом, груженным оружием¹. Мне оставалось осмыслить эти факты. Люсьен редко снисходил до беседы со мной, но и этого было достаточно.

«Я не замечал, что сижу рядом с сестрой. Я не замечал дерева, склонившегося к воде, я не замечал воды. Я не поднял глаз, когда подошла баржа, величественная, как дородная женщина. Водоворот за ее кормой, легкая дрожь, подернувшая воду рябью, запах реки, доносившийся до нас, — я не ощущал ничего. Я не замечал красок, я просто не знал,

¹ Раймонда Дьен. Легла на рельсы, чтобы преградить путь составу, который вез оружие для французской армии, воевавшей во Вьетнаме.

что в тот день мир обладал цветом. Для меня он был прозрачен, ибо взгляд мой не остановился ни на зеленой коре молодого дерева, ни на серой воде в серебряных бликах — зрачках безумия, ни на барже, спокойной матроне в черном, ни на противоположном берегу, где пререкались лодочки. Мой взор проходил сквозь твердые тела, сквозь жидкости, мои глаза видели только меня самого, и сегодня, когда я закрываю их, краски былого, краски того дня, когда я и не подозревал об их существовании, ослепляют меня, будто я карабкаюсь на высокий холм и там обнаруживаю счастливого мальчика, сидящего между сестрой и бабушкой, лицом к реке, в июньский вечер».

Я нашла эту запись в зеленой тетради Люсьена, когда его не было дома. Под ней стояла дата: 1 марта. Мари родилась накануне; имя выбрал Люсьен. Каждый вечер мы натягивали из угла в угол кухни веревки и сушили пеленки. После недолгого отдыха Мари-Луиза опять влезла в свой красный свитер и зашагала на кондитерскую фабрику. Виду я не показывала, но она трогала меня до глубины души. Требования Люсьена сбивали ее с толку. Он не преминул снова взяться за нее: он стремился, по его словам, сформировать, воспитать ее. Она следовала за ним, не понимая, воображая подчас, что наконец догнала его, но когда она говорила или делала что-нибудь, свидетельствовавшее о прогрессе в ее собственном развитии, Люсьен оказывался уже далеко впереди или, напротив, давал задний ход, так что совпасть им не удавалось. Да и кто мог бы разобраться в противоречиях Люсьена?

Если не считать трех часов, когда он выполнял обязанности надзирателя, Люсьен бездельничал. Мари-Луиза этому потворствовала. Ревновала ли она, боялась ли, что он встретится с другими девушками? Своим товаркам она говорила: «Он студент». В доме этому никто больше не верил. Не понимаю, почему мы все трое дрожали от страха, когда он угрожал взяться за первую попавшуюся работу. Не было ли у нас задней мысли, что так он больше в нашей власти, в зависимости от нас? Удалившись от дома, он вырвался бы из наших рук, завел товарищей, друга, новую любовь. Он был так молод, ему и двадцати не сравнялось. Он мог еще учиться, самосовершенствоваться, как он говорил.

В восемь часов бывало еще светло, и Мари-Луиза спускалась по вечерам навстречу Люсьену. Он подходил, брал ее за шею, она вцеплялась рукой в лацкан его куртки, они поднимались вместе. Однажды, случайно, я вышла одновременно с ней. Люсьен запаздывал. Наконец он показался из-за поворота. Ночь была прохладной, ни звезд, ни луны, и в качестве единственного светила — зеленый неон

клуба, только что открывшегося на углу нашего тупика. Три парня направлялись к входу. На них падал резкий свет. Когда Люсьен поравнялся с ними, крайний слева взглянул на него и остановился. Люсьен вынул руку из кармана и вяло поздоровался.

— Вот уж не думал тебя здесь встретить, — сказал парень, — сколько лет, сколько зим! Я тебя сразу узнал. Ты тоже в клуб? Мари-Луиза приблизилась к Люсьену.

Я сразу узнала этого парня по вьющимся длинным волосам. Лицо его в зеленом свете вывески казалось искусственным, как бы наложенным поверх подлинного. Я настороженно следила за Люсьеном, ощущая в себе все, что происходило в нем. Проглоченная обида, годы одиночества, разочарование в друге, рана, которая так и не затянулась, мгновенная мысль о том, кем он мог стать и не стал, унижительность положения, когда нечего сказать, — я пережила все это, как он.

— Добрый вечер, — сказал наконец Люсьен. Наступило молчание. Я не смела шелохнуться.

— Нет, я не в клуб. Я здесь живу.

Ко мне вернулось дыхание. Здесь, — это была сырая развалюха, заплесневелый коридор, окно с развешанным бельем, здесь — означало: среди неопрятных мужчин, стариков, жующих табак, сидя на пороге, старух с грязными нижними юбками, торчащими из-под передников, заводских девок, покрывающих лаком черные ногти, среди бедности и беды.

— Я не знал. Но кем ты стал?

— Я? Никем.

Ответ брата, казалось, тому понравился. Он поглядел на Люсьена, наморщив нос в улыбке, сопя, как собака, которая идет по следу, лицо его озарилось радостью ищущки:

— Пойдем, раздавим баночку, поболтаем, там сейчас пусто.

Мари-Луиза приблизилась еще на шаг.

— Люсьен, я пошла домой.

— Иди. Подожди...

Он взял ее за локоть.

— Познакомься, моя жена.

Перед тем как выйти, она смыла всю косметику, чтоб утром только наскоро оплеснуть водой лицо. Усталая, покрасневшая, она казалась сейчас менее яркой, чем обычно.

— Ты женат? Очень рад познакомиться. Я школьный приятель Люсьена.

Мари-Луиза широко улыбнулась.

— Иди, — сказал Люсьен. — Я вернусь через пять минут.

— Ну, пошли...

Люсьен покачал головой.

— Спасибо, нет, я не пью. Ты чем занимаешься? Правом?

— Да, правом. И тяну, чтоб не попасть в армию. А ты, отслужил?

— Нет, получил освобождение.

— Ты давно женился?

— Скоро год.

Они обменялись еще несколькими словами, потом Люсьен извинился и протянул руку.

— До свидания, — сказал тот. — Как-нибудь в ближайший вечер.

— Ты тоже была тут? — спросил Люсьен, заметив меня у двери.

— Это Анри?

— Да, Анри. Ты его узнала?

— Он не изменился.

Люсьен покачал головой, и мы поднялись к себе. Все последующие вечера Люсьен возвращался домой, не задерживаясь, точно опасаясь встретить Анри. Свидание все же состоялось. Позднее Люсьен рассказал мне, что Анри подстерегал его и поймал около дома. Пойти в бар Люсьен отказался, но они условились встретиться в одном из кафе порта. Люсьен дал себе слово не ходить туда, но потом, после долгих колебаний, все-таки отправился. Анри спрашивал, Люсьен отвечал. Анри слушал. Его притягивало странное существо, оставшееся за бортом. Бедность, запах нищеты действовали на него возбуждающе. Выросший в благополучной состоятельной семье, он упивался неблагополучием других. Дело было, однако, не в одной любви к экзотике. Размышления и анализ привели его к тем же выводам, к которым пришел брат. Анри жил у родителей и пользовался благами своего положения, но потому только, как сказал он Люсьену, — «что по отношению к обществу, которое мы хотим разрушить, все дозволено; куда более эффективно и хитро надуть его, воспользовавшись им самим, чтоб нанести ему смертельный удар».

Прежнее восхищение Анри быстро вернулось к Люсьену. Встречались они ежедневно, это быстро вошло в привычку. Как-то вечером Люсьен привел его домой. Они заперлись. Отныне Мари-Луизе пришлось коротать вечера с нами, на кухне. Первое появление Анри нас потрясло. Бабушка сочла необходимым произвести генеральную уборку и постелить скатерть на кухонный стол, хотя он в кухню не заходил, а Мари-Луиза всякий раз наново подмазывалась, потому что он на ходу здоровался с нею. Мы не решались говорить громко в тайной надежде разобрать несколько фраз. Анри, казалось, доставляло удовольствие бывать в нашем доме. Он, вероятно, принимался, поднимаясь, к лестничному духу, опьянялся обстановкой.

Мари-Луиза была принесена в жертву. Привыкая к тому, что Люсьен ею занимается, говорит с ней, спрашивает, объясняет, она вдруг оказалась вынужденной проводить все вечера и воскресенья в обществе Мари, с которой она гуляла по набережной, когда светило солнце. Люсьен забросил ее в момент,

когда ум Мари-Луизы, анемичный, как никогда не работавшая мышца, только-только начал развиваться. Он возделывал эту целину с упорством, с остервенением — у него не было никого, кроме жены, — и вдруг бросил. Я как сейчас вижу ее в летние вечера, не знающей, куда деть себя, сидящей на кровати с видом человека, который напряженно думает и не понимает. Люсьен и его друг, покуривая, отправились спорить на берег реки. Брат был счастлив. Анри одобрял его образ жизни. А мы-то воображали, что друг использует для него свои связи! Мы уже видели Люсьена пристроенным на доходное и солидное место.

Однажды, задержавшись у нас дольше обычного, Анри попросил брата, чтоб я позвонила его матери и извинилась, что он опаздывает.

— Сестра не осмелится зайти в кафе, чтоб позвонить. Я думаю, она вообще ни разу в жизни не говорила по телефону.

Анри посмотрел на меня. Это была правда. Кому бы я могла звонить? Друзей мы не имели. Если требовалось что-нибудь узнать, нас не затрудняло сходить и выяснить. Если нужен был врач, мы шли к нему, он жил рядом. Мне стало невыразимо грустно. Так же как когда однажды на Новый год я показала бабушке две поздравительные открытки и она пришла в неопределимый восторг: «Ах, открытки!». Это было событием. Жалкие провинциалы. Одинокие, нелепые, нищие тайной нищетою. В такие минуты я любила брата за то, что он еще будет от этого страдать, за то, что он уже страдал; я любила его и потому, что меня пугала жизнь без него, — он был единственным связующим звеном между нами и миром других людей. После этого случая Анри стал относиться ко мне почтительно. Его поведение не было продиктовано состраданием. Нет, просто я принадлежала к тем странным, не нашедшим себе места в жизни существам, в которых находил прелесть его любопытствующий ум. Он удостоил меня несколькими рукопожатиями, несколькими словами, брошенными на ходу, мои ответы ему понравились, и Люсьен, поначалу сдержанный, стал допускать меня к их беседам.

То была пора, когда я брала реванш, когда сбывались мои надежды и желания: Мари-Луиза оказалась оттертой. Она пыталась делать вид, что все в порядке, приставая к Люсьену с вопросами, которые раньше восхитили бы его.

— Скажи, Люсьен, почему... Объясни мне, Люсьен...

Он возвращался часов в одиннадцать или еще позднее, искал ее.

— А где Мари-Луиза?

— Я здесь.

— Что с тобой?

— Ничего.

— Ну раз ничего, значит, все нормально.

Они уходили в свою комнату, я слышала

шепот Мари-Луизы, более громкий голос Люсьена. Они разговаривали долго.

Анри являлся ежедневно к часу дня, усаживался около дверей, ждал, пока спустится брат. Или же разгуливал взад-вперед по двору, где зеленое, как никогда, дерево зонтиком простирало ветви над сухими плитами. Мы не закрывали окон ни днем, ни ночью, и стены у нас просохли. Иногда в разговоре с другом Люсьен вздыхал:

— Когда-нибудь настанет настоящая жизнь... Можно будет делать все, что захочется...

Кипа газет, купленных Мари-Луизой, громоздилась на стуле в их комнате. Переписка по сердечным делам, советы супруге, как сохранить мужа, как быть красивой... Она рассчитывала почерпнуть в них средство против метаморфоз Люсьена. Она была воплощенная мягкость. Я тогда говорила — податливость.

А я пожирала все, что разоблачало агонизирующую, но не желавшую умирать, войну. Однажды я искала последнюю статью Барсака, которую брат прибрал до того, как я прочла. Статьи нигде не было. И снова мне в руки попала зеленая тетрадь, спрятанная в папке, набитой бумагами.

Я перелистала ее, пропуская фразы, не имевшие интереса, описания, философские рассуждения; я искала чего-то, что могло бы кинуть свет на вчерашний инцидент. А накануне произошло вот что. После долгих споров — было уже около одиннадцати — Анри попрощался с нами. Мари-Луиза листала в кухне газету. Люсьен спросил:

— Ложимся, Мари-Лу?

— Я хочу немного прогуляться с тобой.

— Так поздно?

— Ну и что?

Она медленно поднялась, сложила газету, потом внезапно бросилась к нему.

— Люсьен, милый, пойдем погуляем.

— Не сейчас.

Он попытался вырваться, потому что она вцепилась в воротник его рубашки.

— Ладно, — вздохнул он, — надевай жакет, Элиза! Пошли, прогуляемся.

Я не двинулась с места в полном изумлении.

— Пошли, — повторил он, — побыстрее.

Мари-Луиза не осмелилась ничего сказать, но явно была разочарована. Люсьен зашел в комнату бабушки. Мы держали там кровать Мари, пока не уходил Анри. Она еще не спала. Люсьен взял ее на руки.

— И ты тоже, дочь моя, пойдешь с нами. Готовы? В путь!

Мрачнейшая была прогулка. Говорил он один. Когда он направился к скверу, я спросила, почему бы нам не пойти к реке.

— Нет, — отрезал он.

Обойдя сквер, он указал нам скамейку.

Стояла глубокая ночь. Поблескивала трава на лужайках, комары звенели вокруг фонарей. Мари уснула на руках у Люсьена. Он говорил всякую ерунду, пошлые фразы о весне, о зиме, обращаясь сразу к нам обоим. Я рассеянно отвечала. Я была удобна: он брал меня, когда не хотел оставаться наедине с Мари-Луизой.

— Домой, женщины, — приказал он, поднявшись.

У себя в комнате они не ссорились или уж очень тихо, — во всяком случае, я ничего не слышала, а подслушивать я умела.

В зеленой тетради я нашла письмо. Сложное вчетверо, оно лежало между последними исписанными страницами. Я чуть не попала, так как оно было длинным. Теперь оно снова у меня, как и все вещи Люсьена. Этим письмом завершилась целая эпоха. Начиная с него, все пошло по-иному.

«Вы сказали сегодня вечером: «Ты такая же, как все девушки». Я такая же, как все девушки, только не в хорошем, а в дурном. Пожалуйста, я еще никогда не встречала такого, как вы. Да, вам, вероятно, говорят это при каждом новом знакомстве. Знайте, это — правда.

Вы показали мне свою дверь и сказали: «Видишь, я живу здесь. Мрачновато, дом ветхий». Вы спросили меня, далеко ли живу я. «За разводным мостом...» За разводным мостом нужно шагать еще добрых четверть часа, на просторах природы. Да уж, природы, ничего не скажешь... Лавчонки, домишки, садики — вам все это знакомо, Люсьен, и чистый воздух газового завода, и черная земля, и непролазная грязь дорог, потому что в такого рода местах всегда идет дождь. А в комнатах подставляют тазы.

Там моя комната. Вообще, комната. Нас в ней пятеро: отец, его жена, его предыдущая жена, брат и я. Отцу шестьдесят. Мы приехали сюда на второй год испанской войны. Мать незаметно умерла на четвертом этаже одного из домов в гавани, на кровати, придвинутой к окну, слегка наклонясь из которого она могла дотянуться до соседей, живших напротив. Недолго спустя у нас появилась другая мать. Она заботилась о нас лучше, чем первая, всегда болевшая, и мы любили ее, как и она нас. Та, что нас воспитала, слишком податлива, чтоб рассердиться, уйти. Куда она пойдет? К тому же она привязалась ко мне тревожной любовью толстух ко всему хрупкому. Некоторое время я посещала школу. Но при малейшем насморке пропускала уроки. В пятнадцать лет я проводила дни, греясь на солнышке, когда оно светило, и слушая пересуды соседок. Я нигде не ходила. У отца были свои представления о нравственности, он осуждал танцульки, прогулки. Приходили приятели

брата, украдкой поглядывали на меня. Один из них учился в вечерней школе. Я тоже захотела посещать ее. Отец уступил. Мы возвращались вместе. В самых темных углах мы останавливались и жадно душили друг друга в объятиях. Я мечтала жить с ним, готовить ему обед в кухне, украшенной цветами... ну, и все остальное, что воображают девушки на эту тему. Потом он стал избегать меня, прекратил знакомство, я терзалась. Я начала поглядывать на мужчин с яростным желанием быть замеченной, избранной, любимой. Я охотилась, как охотятся парни. Я хотела мужчину. И очень скоро узнала, что есть только одно средство иметь его — это, как принято говорить, «отдаться».

Однажды в воскресенье со мной заговорили женщины. Они собирали деньги для бастовавших докеров. Я поняла, почему мы так скудно едим. Я не обращала на это внимания. Отец о таких вещах не говорил.

Женщины проводили меня в небольшое помещение. Я слушала, не уходила, потом опять вернулась. Наконец как-то вечером к нам присоединились мужчины. Они были просты, бедны, молоды, стары, грязны, щеголеваты, отважны, крикливы, серьезны — настоящая первомайская демонстрация.

Я стала секретарем секции. Я многому научилась, так как была влюблена в казначея, твердокаменного, безупречного. Но время не располагало к чувствительности, мужчины были заняты борьбой. Большинство не работало. Почему ни один мужчина не берет меня надолго? Почему после нескольких свиданий он со скучной миной объясняет, что у него нет времени для свиданий со мной? Каждый раз начинать сначала, каждый раз обосновываться в любви, как если бы она была окончательной, и каждый раз складывать чемодан воспоминаний. Ожидание, встреча, первый день, второй, послеполуденные часы в полумраке гостиничных комнат, тишина, кровать посередине, гладкие простыни, мягкие одеяла. Все остальные — там, снаружи, а я укрыта от жизни в объятиях мужчины, который станет моим рождением и смертью. Чтоб видеть их довольными, я делала все, что они хотели, все, что могло им понравиться.

И все же они уходили от меня. Может, им было неприятно мое молчание? Сначала они счастливы, что их слушают. Потом начинают задавать вопросы. Что им сказать? Я молчу. Наверно, это внушает подозрение. Я плачу, расставаясь, я плачу, встречаясь вновь. И все рушится. Вот уж четыре года, как я веду такую жизнь. Позавчера я шла по улице, параллельной вашей. Вы вдруг появились, предложили мне сигарету. Я только что рассталась с мужчиной и спешила, чтоб успеть на трамвай до десяти. Было темно, людно. Я остановилась. Вы заговорили первым, я что-то ответила на ходу, и мы расстались, назначив свидание.

Как объяснить, что со мной? Согласитесь, любовью это не назовешь. Разве для простоты. Мне слова даются не легко. «Коммуникабельность» не в моей натуре. Я прочла это слово однажды в журнале, который нашла в Народном доме. И завладела им.

У меня есть порок подбирать все, что попало. Я люблю иметь. В особенности книги. И я читаю их. Так вот, это слово я подобрала в одном журнале: «коммуникабельность». Это то, и не то. На несколько мгновений ощутить, что существуешь, понять это через другого. А как иначе ощутить свое существование? Только через боль, через то, чего я лишена. Я ощущаю себя, когда брошена, не нахожу работы, плохо сплю, потому что в кровати не хватает места. Но с вами я вдруг ощутила, что существую. Сказать вам это я не сумела бы, я искала бы слова, как смешавшаяся лгунья. Люсьен, встретимся ли мы, чтоб стать друзьями?

Анна».

— Не ждите меня сегодня, я, наверно, не вернусь. Переночую у Анри, как в тот раз.

Я ему не верила. Мари-Луиза посмотрела на него с беспокойством.

— Приходи, Люсьен. Пусть поздно, но приходи.

— А как, если трамваи не ходят?

Она пожала плечами и ушла в свою комнату. Но когда хлопнула входная дверь, она стремительно выскочила и побежала вслед за ним по лестнице. Бабушка выглянула в щель между полуприкрытыми ставнями.

— Нет, ничего не вышло, вон она, выходит из-за угла.

Она засмеялась. Мы замолчали. Мари-Луиза вернулась. Закрыв дверь, она вдруг закружилась в танце. Лицо ее улыбалось, и мы остались в недоумении, догнала она его или не догнала? Но он не вернулся и в этот вечер.

Анри сидит на кровати. Он роется в кармане пиджака, повешенного на ручку двери. Лицо, как всегда, спокойно. Откуда этот безмятежный вид? Может, от пухлости щек, бесцветности глаз? Думаю, что он попросту счастлив. Каждый жест его осознан. Доставляет ему удовольствие. Повесить пиджак на окно, поставить ногу на кровать, прислушаться к ругани, которой обливают друг друга во дворе разъяренные соседи. Он разрушает этот мир и за четверть часа воздвигает, на словах, иной, где ему уже уготовано теплое местечко. Он всюду как дома. Он упивается газетой, обеспечившей ему темы для трех, четырех часов беседы на сегодняшний вечер. Он положил ее рядом с собой на кровати, и я различаю перевернутые буквы огромной шапки: «ПАДЕНИЕ ДЬЕН БЬЕН ФУ». Одна рука его лежит на столе. Ему хорошо, он принюхивается к запаху

разогреваемого соуса, угостить его которым мы бы сроду не посмели.

— Движение, достаточно мощное, чтоб перегруппировать всю французскую левую. Но кто во Франции готов воспользоваться событиями? Найти молодежь, чтоб держать страну в постоянном напряжении... Конечно, это еще не революция. Париж — столица пятидесятого штата Америки, этого не изменишь, разве что путем партизанской войны, как во Вьетнаме.

Люсьен лихорадочно принимал к этому источнику. Со всем соглашался.

Анри всегда был готов для революции. Она была логическим завершением его круглосуточных дискуссий. Он готовил ее в своей комфортабельной комнате, и отвращение к обществу, в котором он вынужден был жить, укрепляло его ниспровергательские мечты. В Люсьене он обрел классический образец жертвы системы: сирота, неудачник, бедняк, худыра. Физический облик брата притягивал Анри: прекрасное тонкое лицо, точно извлеченное из архивов Октябрьской революции или альбома героических анархистов. Он завидовал этому и сердился на Люсьена за то, что тот не до конца отдается идее, борьбе. Люсьен ей отдавался, но лишь порывами. Мы родились в бедности, трудности росли вместе с нами, оплетая нас как душный плющ, от которого мы собственными силами не могли избавиться. Люсьена это бесило, но, чтоб выжить, он создал себе неприступные убежища: лень, поиски невыносимой любви.

Я бестрепетно наблюдала страдания Мари-Луизы. Она была не настолько глупа, чтоб не заметить этого. Передо мной она выставляла напоказ спокойствие, удовлетворенность. Вся порядочность брата сводилась к тому, что он предупреждал, когда не будет ночевать дома. Это случалось два, а то и три раза на неделе. В остальные вечера он возвращался поздно, Мари-Луиза ждала его, не ложась. Они говорили шепотом, но я предсудомительно не закрывала плотно двери нашей комнаты. И довольно хорошо все слышала. Она жалобно ласкалась. Он, по-видимому, оставался холоден, погружен в свои мысли. Тогда она делала над собой усилие и пыталась возбудить в нем интерес к разговору.

— А война? Теперь все?

— Что война... Читай газеты, будешь знать ровно столько же, сколько я.

И все же он пускался в долгие рассуждения, которыми питалась и я, потому что он говорил во весь голос. Я представляла себе даже, как он жестикулирует. Мари-Луиза героически слушала, хотя ей предстояло встать в шесть часов и до вечера не отходить от машины. Она вышла замуж за «студента» и дорого расплачивалась за это. Мучительнее всего для нее была невозможность пожаловаться на свою судьбу в обществе женщин, которые всем

делились друг с другом. Сначала ей завидовали. Потом стали недолюбливать. Она переняла язык, словечки Люсьена. «Задавака, фансоня», — говорили о ней на фабрике.

Мы следили за событиями в Индокитае, как следят за спасением терпящих бедствие. Мари-Луиза, захваченная лихорадочной атмосферой, которую создавали Анри и брат, самоотверженно забывала о собственных горестях и разделяла наше нетерпение.

Четырнадцатого июля Люсьен попросил у меня денег. Такого еще не бывало. Я дала немного, ни о чем не спросив. Я узнала, что Мари-Луиза обратилась с такой же просьбой к бабушке.

— Я ответила, обратитесь к Элизе, деньгами распоряжается она, — сказала мне бабушка.

Мари-Луиза не посмела. Да я и не смогла бы ей помочь.

Во мраке нашей спальни бабушка доверилась мне:

— Знаешь, где Люсьен днюет и ночует? Анри тут ни при чем. Только такая дура, как ты, может верить всему, что он говорит. Ты его избаловала, ты всегда стояла за него горой. А этот Анри его сообщник. Если бы Мари-Луиза знала. Господи...

Она поплакала и снова завелась:

— Мы еще хлебнем из-за него. Мари-Луиза, ее отец, братья, мать, злющая баба...

Ежедневно в полдень Люсьен встречался на набережной, у трамвайной остановки с девушкой. Они шли в портовую гостиницу. Их видели, когда они выходили на рассвете.

— Несколько человек наталкивались на них. Докеры с нашей улицы, знакомые ее отца.

Гостиница в порту. Девушка та самая, которая написала письмо, Анна. Деньги нужны были, чтоб платить за гостиницу. Анри все знал. Читал ли он письмо?

Мне не спалось. Я видела полуденную набережную, корабли на заднем плане, лотки с устрицами, серыми креветками... и две тени, переплетшие пальцы, вдыхающие запах отплытий, который исходит от воды. Я так разволновалась, что решила защищать Люсьена, что бы там ни стряслось. Вернись он в эту минуту, я сказала бы ему о своем решении. Но он не вернулся, и я ничего не сказала. И к лучшему: он счел бы это просто грубо расставленной ловушкой.

Деньги. Мы все трое раздираемы желанием иметь деньги. Люсьен нуждается в них для своих послеполуденных походов. Каникулы, он не зарабатывает ни копейки. О том, чтоб найти другую работу, и разговора нет, когда ему работать. В полдень он ложится в постель — до вечера — в каком-нибудь портовом отеле, куда приглушенно доносится скрип погрузочных кранов, потом — ночью — снова ложится в постель, либо дома, либо еще где-ни-

будь. Нужны деньги. Я читаю на его лице, в его глазах эту потребность в деньгах. Больше всех зарабатывает Мари-Луиза. Значительную часть она отдает на хозяйство. Остаток делит с Люсьеном. Получается не густо. Она тоже одержима жаждой денег. Она немало тратит, с тех пор как Люсьен ее забросил: на газеты, косметику, ленточки, украшения. Она вычитала в идиотской переписке по сердечным делам, что нужно соединять в себе многих женщин. Но средства, необходимые, чтоб привязать мужчину, стоят дорого. Мари-Луизе нужны деньги. Мне позарез необходимы те, которые я дала в долг Люсьену. Десять тысяч франков. Хватило бы на целую неделю. Мы нищие, но гордые. Из тех, что прячут бедность, как постыдное уродство.

В комнате было темно, и мне показалось, что под покровом мрака можно все высказать начистоту. Несмотря на жару, окно оставалось закрытым, чтоб не слышали соседи.

— Нам, всем троим, нужно, во-первых, возможно меньше тратить, отказаться временно от каких бы то ни было покупок, кроме еды. И постараться увеличить наши доходы.

— Ты хочешь сказать — работать.

— Да, работать.

— Хорошо, — сказал он. — Ради этого не стоило созывать семейный совет. Но раз уж он собрался... Летом мне заработков не найти. К тому же я тут затеял... Ну, одним словом, я не собираюсь входить в детали. Мне сейчас время дорого. В октябре будет легче. Я прошу тебя, сделай еще небольшое усилие и наберись терпения.

— Ладно, — сказала Мари-Луиза, которая сочла обсуждение законченным и встала. Она сердилась, что я отнимаю время в редкий вечер, когда Люсьен остался с ней.

— Нет, не ладно!

Мной овладела ярость, требовавшая разрядки.

— Вы не поняли, у меня нет денег.

— Но... и у нас тоже.

— Прошу тебя, Люсьен, отдать мне все, что у тебя есть, то немногое, что у тебя есть. И вас тоже, Мари-Луиза.

— Но у нас ничего нет, — закричал Люсьен, — чего ты хочешь?

Я молчала. Снаружи доносились крики детей, не желавших возвращаться домой. Нащупав выключатель, Мари-Луиза зажгла свет. Теперь, когда стали видны лица, я потеряла уверенность, что смогу продолжать. Он вытащил из кармана несколько десятифранковых монет и, улыбаясь, положил их на стол.

Я решила.

— Мари-Луиза, ваш отец знаком со всеми, кто ведает наймом в порту. Не попросишь ли ты его, Люсьен, чтоб он нашел тебе на несколько недель работу? Это бы выручило нас.

— Только не это, — сказала Мари-Луиза, надув губы.

— Так... — сказал Люсьен. — У мадам, простите, у мадемуазель открылись глаза, она узнала, что такое забастовка, безработный, трудящийся. Она обрела новую веру. И для морального комфорта ей необходим пролетарий в лоне семьи. Это куда проще, чем самой стать пролетарием. Почему ты никогда не работала, как другие? Чем ты можешь оправдаться? Тем, что воспитывала меня? Ты лжешь себе самой. Если это было ради моего воспитания, то почему же ты сегодня посылаешь меня в порт? Опоздала. Надо было делать это, когда мне было шестнадцать лет.

И он выложил все, что у него накопилось. Зачем его отдали в коллеж. Вначале, — да, вначале он был счастлив. Но потом? Он дорого заплатил за наше тщеславие.

— Надо было воспитывать меня по средствам! — кричал он.

— А между тем, — грустно сказала я, — на какие только жертвы мы не шли ради тебя. Чтоб дать тебе больше, я лишала себя всего. Разве ты не помнишь, Люсьен, как даже на праздники, в дни выдачи премий, ради того, чтоб у тебя, как у всех, была новая рубашка, я провожала тебя в выцветшей блузке, в перелицованной юбке.

— Это я и ставлю тебе в вину!

— Замолчи! Замолчи!

Бабушка открыла дверь.

— Это еще что такое? — сказала она раздраженно. — Вас снизу слышно.

Никто не ответил.

— Не твое дело.

Люсьен втолкнул бабушку в ее комнату.

— Как? — сказала она.

Она раскрыла дверь настежь.

— Я хочу знать.

Это привело его в ярость. Он резко закрыл дверь.

Она распахнула ее снова.

— Дверь будет открыта.

Он ухватился за ручку и с остервенением захлопнул защелку.

Бабушка выскочила опять, крича:

— Здесь тебе не тюрьма, нечего запирать людей!

Они оба не помнили себя, дверь многократно открывалась и снова хлопала. Он повис на ручке, она, вопя, колотила в створку. Я бросилась на него, хотела оторвать его руку. Он оттолкнул меня левым локтем, но это ослабило его напор на дверь, и бабушке удалось ее открыть.

— Стыдно! Стыдно! — кричала она. — Вот уж несколько лет, как ты бездельничает, кормишься за чужой счет, пьешь наш пот. Лентяй, развратник, я все знаю, — выплонула она.

— Замолчи.

Я показала ей на Мари-Луизу.

— Я с этим не намерена считаться, я все скажу. Пусть убирается отсюда, пусть работает, не хочу его больше видеть.

Люсьен схватил ее, тряхнул, бросил на кровать. Способен ли он был удушить бабушку? Он сжимал ее горло, я набросилась на него сзади, чтоб принять удар на себя. Оставив бабушку, он отшвырнул меня и кинулся в кухню. Мне стало страшно. Сейчас он выйдет и отколет что-нибудь на улице. Я попыталась его задержать. Не поняв моих намерений, он оттолкнул меня. Я стукнулась о стол. Тогда он подошел и дважды с ненавистью ударил меня по лицу, потом схватил клеенку, с которой еще не были убраны тарелки, и потянул. Мари-Луиза, не глядя на меня, вышла следом за ним с ребенком на руках. Что скажут соседи? Мы так гордились тем, что единственные в доме не выставляем на всеобщее обозрение свои ссоры.

— Ты видела? Он чуть не убил меня... Он хулиган, Элиза.

— Только бы никто нас не слышал.

Неделю мы его не видели. Однажды вечером он явился вместе с Анри, избежав таким образом объяснений. Мари-Луиза дала мне денег. «Я взяла аванс». Вопрос был исчерпан. В кухне снова стали накапливаться газеты.

Анри сообщил, что уезжает. Он проведет три года в Париже. Эта новость заставила меня задуматься. Какой переворот он совершил в нашем доме за несколько месяцев! Наши окна распахнулись. Вместе с ним к нам вошли имена, страны, люди, Индокитай внезапно стал близок, как холмы Вердле. Все эти газеты, которые он нам оставлял, их заголовки были теперь у нас на устах, я повторяла их как магические формулы! За несколько дней до отъезда, в ноябре, Анри вбежал, задыхаясь, с газетой в руках. Он бросил нам новое слово. Я не обратила внимания. Это слово было — Алжир.

Первые дни мы были выбиты из колеи, потом привыкли к отсутствию Анри. Он присылал Люсьену длинные письма. Запираясь у себя, брат говорил: «Я отвечаю Анри». Он сблизился со мной. Я вскоре поняла причину. Моя неприязнь к Мари-Луизе никогда не была для него секретом. Жена становилась для него обузой, она играла по отношению к нему ту же роль, что я в годы детства. Смутно это ощущая и догадываясь о причинах, она сблизилась с бабушкой; их связывала Мари. Но Люсьен ждал, что за его привязанность я заплачу общиничеством.

В этот учебный год его надзирательские часы начинались с четырех, кроме того, он давал два урока по четвергам. Порой, призванная им в святилище, я ощущала стыд за свой триумф.

Мари-Луиза входила следом за мной. Он ее не замечал. Он рассказывал мне о чем-нибудь, читал статью, комментировал ее:

— ...до каких эксцессов доходит расизм в Северной Африке... позор.

— Что такое эксцессы?

— Не прерывай же меня, Мари-Луиза.

И он продолжал объяснять мне, не обращая на нее никакого внимания, вытаскивал письмо Анри, читал куски из него. Я глядела на его стол, где громоздились книги, принесенные Анри перед отъездом, в них была жизнь, которая манила меня.

— Война.. Нужно что-то делать.

— Тут тебе не Париж. Правда, я знаю несколько одиночек, таких, как мы с тобой...

Люсьен говорил «мы». Он и я.

— Послушай, я тебя познакомлю с одним товарищем, ее зовут Анна. Она была членом различных организаций. Теперь она менее активна, слишком занята. Что с тобой? Чего ты уставилась на меня, покраснела?

— Ничего, — только и сказала я.

Я сижу против брата. Бар называется «0 20 100 0». Когда отворяется дверь, струя холодного тумана леденит ноги. Сейчас я увижу Анну. Мне страшно. Я представляю ее себе существом необыкновенным, фантастическим.

Кто-то вошел и внезапно оказался у нашего столика. Люсьен не встает, встаю я, не поднимая глаз. Отодвигаю свой стул, на это уходит несколько секунд. Вижу ноги, обутые в стоптанные лодочки. Складываю в восемь раз газету, на это уходит еще несколько секунд. Нужно все же поднять голову. Она глядит на меня. Ничего потрясающего. Передо мной женщина, каких много. Она раскручивает огромный белый шарф, в который, как у кочевницы в Сахаре, замотана ее голова. У нее длинные, темные волосы, засунутые за воротник то ли пальто, то ли куртки, я не разбираю. Она взбивает их пальцами. Они закрывают ее лоб низкой, неровно обрезанной челкой. Остаток лица узок, бледен. Люсьен заказал три кофе. Сказал обо мне что-то милое, это я услышала. Не вспомню, о чем шел разговор. Собственные мысли мешали мне следить за их словами. У нее пришепетывающий голос, который меня раздражает. Она играет волосами, и я спрашиваю себя, пошло ли бы мне, если бы я тоже распустила волосы. Я отвечаю «да» на все, что они говорят. Люсьен предлагает ей сигарету, показывает рисунок в «Канар аншене». Она смеется и смотрит на меня. Теперь я уже освоилась с ее худым лицом. И нахожу его привлекательным. Широко открыты красивые светло-карие глаза. Как могут быть такими черными и длинными ресницы? Поглядев на нее в профиль, обнаруживаю, по их жесткости, что они густо намазаны тушью.

Мари-Луиза лучше. Правильней черты, нежнее кожа, изящней рисунок рта. Анна, чтоб выглядеть красивой, вынуждена не переставая

играть своим лицом. Она зажигается, как лампа, — и проступает очарование. Худоба не вредит ей. Волосы как у утопленницы, сказала бы бабушка. Но бесплотность Анны сообщает им прелесть влажной травы. Что-то магическое, потайное есть в ее соблазнительности, идущей вразрез со всеми нормами: хрупкое тело, детские запястья, плоская грудь, бледное, серьезное лицо. Таких не опасаются. На Анне черный свитер, серая юбка, черная суконная куртка с большими карманами. Мы поднимаемся. Она заматывает свой длинный шарф. Люсьен просит меня извинить его. Ему пора в Сен-Никола. Анне в ту же сторону, не так ли? Я иду одна.

«Увидишь, когда-нибудь и для нас начнется настоящая жизнь, — часто говорил Люсьен. — Главное, сохранить свою цельность».

А что такое настоящая жизнь? Больше треволнений? Богаче выставка людских портретов вокруг? Что от этого изменится? Как мы узнаем, что началась настоящая жизнь?

— Почему вы не можете быть такими, как все, — жаловалась Мари-Луиза.

Однажды в пятницу она пришла домой в сопровождении двух женщин. У нее закружилась голова в цеху. Вернувшись, Люсьен нашел жену в постели. Я сидела подле нее. Мы ждали врача. Люсьен похлопал ее по руке, она расплакалась. Он стал ее расспрашивать, не сумев скрыть от меня особый блеск в глазах. Я его насквозь видела, у меня дыхание перехватило. Он подумал, что она умрет.

Врач пришел поздно, предписал множество анализов. Он нашел, что Мари-Луиза очень слаба, и посоветовал нам поторопиться. Пока он укладывал свой чемоданчик, я отозвала Люсьена в сторону.

— У тебя есть деньги?

— Нет, а у тебя?

— Очень мало. Только на лекарства. Есть у тебя хотя бы пятьсот франков?

— Ни гроша.

Пришлось, сгорая от стыда, извиниться перед доктором. Песня была ему знакома. Мы расплатимся после следующего визита.

У Люсьена была тысяча франков. Я знала. Утром он нечаянно вытащил бумажку из кармана вместе с платком. Я настаивала, чтоб он дал мне денег, он твердил, что у него их нет.

Болезнь жены стесняла его. Он изводил Мари-Луизу. Но едва она вернулась на кондитерскую фабрику, как наступил рецидив.

— Да что с ней такое? Элиза, выздоравливает она, как ты думаешь?

Бабушка, разрываясь между природной добротой и расчетливостью, теряла голову, суетилась, готовила Мари-Луизе питательные блюда, жгла свечи в церкви, отводила меня в уголок, чтоб подвести итог всем этим усилиям, и, поскольку они не давали никаких результатов, не

могла удержаться от несправедливых нападков на жену Люсьена.

Мари-Луиза уступила наконец нашим настояниям. Согласилась уехать. Ее взяли на три месяца в дом отдыха в Сеста вместе с дочерью. Я думаю, она испугалась, увидев лилово-желтую кожу вокруг своих глаз. Отдохнув — и похорошев, как заверяли иллюстрированные журналы, — она снова станет желанной для мужа.

— И тебе ни копейки не придется платить, — повторяла бабушка.

Ее это приводило в восторг.

Странно было вновь оказаться втроем, как в прежние времена.

Люсьен проявлял ко мне почти что нежность, во всяком случае настолько, насколько он вообще мог быть нежен с тем, кого не любил. Я служила переводчицей между ним и бабушкой, так как они не разговаривали. Она была глубоко несчастна. Она переживала враждебность семейства из дома напротив, которое распространялось перед всеми, кто проявлял готовность слушать, будто Люсьен убивает их дочь. За едой ей приходилось выдерживать наши с Люсьеном беседы, а война и политика ее не интересовали. Она тосковала по Мари. Я, так говорила она, «переметнулась на сторону Люсьена». Когда она выходила, ей казалось, что люди отворачиваются и судачат о нас.

Зима началась холодами. Подоконники покрылись льдом. С наступлением темноты бабушка отправлялась к лавке торговца овощами, который бросал пустые ящики перед дверью. Она притаскивала несколько штук, и каждый день после ужина мы разжигали огонь. Как-то в гололед она упала, пришлось уложить ее в больницу с тремя переломами. Люди косо поглядывали на нас. «Все они этим кончат, — говорили за нашей спиной. — К ним все беды липнут».

Нам с Люсьеном никогда прежде не доводилось оставаться наедине. И теперь это продолжалось не долго. Через два дня после несчастного случая с бабушкой явилась Анна: она осмотрела нашу квартиру, комната Люсьена ей понравилась. Не сомневаясь, что я сохраню нейтралитет, он захлопнул свою дверь перед моим носом. В одиночестве я сидела на кухне, слыша их перешептывание.

В больницу пускали после часа дня. Я приходила точно к этому времени и оставалась до трех, стараясь подбодрить бабушку, которая плакала, просилась домой. Потом я возвращалась. Анна уходила в семь, много позже Люсьена, чтобы любопытные соседи думали, что она была у меня.

Однажды она провела у нас ночь. Я ежедневно посещала больницу уже в течение двух недель. В этот день, перед тем как пойти домой, я забежала в контору фирмы Пюэс, где мне давали бумаги на перепечатку. У нас ли уже Анна? И чем она занимается в часы, которые

не проводит с Люсьеном? Значит, существуют люди без определенных занятий, назначающие друг другу свидания, фланирующие, занимающиеся любовью в этом гигантском муравейнике, который высасывает у других все силы?

Еще снизу я различила их голоса. Они явно ссорились. Я торопливо перескочила последние ступеньки. Повернувшись к Люсьену спиной и опершись рукой о притолоку, Анна надевала туфли. Юбка на ней висела.

Люсьен говорил. Они не заметили, что я вошла.

— Я пошел на риск, я привел тебя сюда, я жене жизнь дома отравил, устроил так, что она уехала. Чего тебе еще надо? Здесь мы бессильны. Поедем в Париж. Я уеду первым, ты подождешь, если хочешь, в моей комнате...

— Послушай, Люсьен: если ехать, то вместе, мы всегда так говорили. А теперь, ты не смеешь в этом признаться, но теперь ты хочешь уехать один к своему другу. Ты уедешь, и больше я о тебе не услышу. Хорошо, я согласна, я уеду, но я уеду одна, и ты никогда не узнаешь, куда я уехала. Тогда ты поймешь, какую боль мне причинил, ты сам ее почувствуешь. Я уйду, но раньше позволь сообщить тебе новость, особого значения она, конечно, для тебя не имеет, — я жду ребенка. Я поняла это три недели назад.

— Что? Это неправда...

Она обернулась к нему лицом. Она плакала.

— Неправда? Ты меня хорошо знаешь, ты видишь меня каждый день голой... Погляди.

Люсьен сделал несколько шагов к двери. Привалившись к столу, она спустила юбку и приподняла свитер. Она была без комбинации, обнажился живот. Издали он казался чуть вздутым.

— Смотри же, — повторила она, задыхаясь от слез. — Видишь эту припухлость, это — ребенок, твой ребенок. Смотри же, ты его видишь в первый и в последний раз.

Глотая слезы, она поправила юбку. Руки у нее дрожали, ей не удавалось застегнуть пояс. Она набросила шарф на голову, натянула куртку, подобрала туфли. Мне было слышно, как она тяжело дышит, всхлипывает. Она кинулась к двери и сбежала по лестнице. Люсьен вернулся к себе в комнату. Я вылезла из закоулка, в который забились. Внезапно мной овладело отвращение. Они повсюду дома. Стоит им где-нибудь переспать, и это уже их дом. Я, как бабушка, нуждалась в приличиях, пристойности. «Он уезжает, — подумала я. — Анна либо присоединится к нему, либо нет; у нее либо будет ребенок, либо нет. Они либо поссорятся, либо нет. Через три месяца, когда вернется Мари-Луиза, будет видно. Он уезжает. И нечего растревать незаживающие раны. Немного мужества, и я выкарабкаюсь. Разве я не была всегда одинока? Лучше так, чем скандал».

У портала Глициний еще лежал серый снег, когда мы приехали в дом отдыха Сеста. Мари-Луиза встретила нас возгласами радости. Силы ее восстанавливались медленно, лицо было все еще желто-лиловым. Она упрекнула Люсьена, что тот ей не пишет. Не отвечая, он на несколько секунд опустил веки. Нам привели Мари. Ей пребывание в Сеста пошло на пользу. Люсьен не знал, о чем говорить. Он повторял все время одни и те же вопросы: как кормят? Чем лечат? Каков распорядок дня? Потом стал распространяться о политических событиях, которые его волновали, о чудовищном росте расизма. Но Мари-Луизы хватило ненадолго.

— Мне остался еще сорок один день. Ты приедешь за мной, когда меня выпишут?

Люсьен не ответил. Я чувствовала себя сообщницей в безмолвно назревавшем преступлении. Я была не в своей тарелке и старалась разговаривать ласково, чтоб у нее осталось от этого визита впечатление, что ее любят. Зал, в котором мы находились, напоминал приемную пансиона. Мари уехала на выложенный плитками пол и играла с куклой, которую привез ей отец.

— Я соскучилась по вашей бабке, — сказала Мари-Луиза. — Почему меня не уведомили о несчастном случае? Я бы написала, ей было бы приятно.

Люсьен скептически поморщился и негромко сказал:

— Не было времени.

Он играл ручкой Мари, крутя браслет-цепочку. Это натолкнуло меня на мысль. В одном из ящиков нашего шкафа бабушка хранила свои сокровища: обручальное кольцо и часы мужа, перстень, две золотые булавки, мамины серьги. Согласится ли она заложить их, чтоб Люсьен мог уехать в Париж? Вряд ли.

— Ты мне ни о чем не рассказываешь, — жаловалась Мари-Луиза.

Я отошла к окну, боясь, что один из них призовет меня в свидетели.

— На, отнеси Элизе, — сказал Люсьен дочке, давая ей газету.

Он хотел, чтоб я вернулась к ним. Мари-Луиза поняла это и замолкла. Тонкие черты ее лица исказились, она едва удерживалась от рыданий, протянула руку к Люсьену, хотела опереться о него. Он вздрогнул и резко отодвинулся. Стараясь сохранить равновесие, она застонала.

— Только без слез, — отрезал он, — или я уйду.

Она взглянула на него, но он отвел глаза.

— Люсьен, — мягко сказала она, — я ведь тоже твой Алжир.

Он пожал плечами и ничего не ответил.

Это сравнение, бессознательно сорвавшееся у нее с уст, смутило Люсьена. Оно смутило и меня. Мы оба надолго запомнили, храня ее про себя, эту фразу, последнюю фразу, которую Мари-Луизе довелось сказать моему брату.

Я взяла драгоценности, заложила и, получив двадцать пять тысяч франков, отдала их Люсьену накануне отъезда.

Он поблагодарил и заверил меня, что вернет. Я попросила его писать почаще и расплакалась, вопреки всем принятым решениям. Казалось, это его тронуло. Несколько раз он обошел медленным шагом нашу квартиру. Несмотря на холод, открыл окно и долго глядел на черное дерево, поблескивавшее сосульками. Я тщетно приставала, чтоб он что-нибудь съел. Он рано лег, так как поезд уходил в семь утра. Я хотела бы проводить его, но он не разрешил. Я так и не узнала, уехал ли он один.

Когда он встал, я уже была в кухне. Чемодан стоял собранным. Я не могла в это поверить. Нет! Он играет в отъезд, сейчас разберет чемодан, я же не могу остаться одна. И плевать на настоящую жизнь. Кто знает, может, она настоящая именно здесь: нескончаемые мечты, ожидания, смутные стремления? Он надел свою канадку, закурил, сердце мое заколотилось. Вот оно... Он рассеянно поцеловал меня, он был уже далеко. Он не сказал ни одного из тех слов, от которых рубцуются кровавые раны, не подал надежды. Но когда он открывал дверь и я дотронулась до ткани его куртки, вдруг подмигнул мне и огляделся. Последние секунды растянулись, удлиннились, сжались, дверь захлопнулась. На поворотах лестницы шаги его замедлялись. Оставалось еще окно. Я высунулась. Люсьен только вышел, до угла улицы было еще тридцать метров отсрочки. Обернется? Люди, точно муравьи, выползали из темных домов. Один из них заслонил Люсьена. Уехал. Я вернулась в кухню, потом снова легла в постель, встала, села на кровати, открыла ящики его стола. Пусто. Боль я ощутила позже, при свете дня, безжалостно осветившем пустоту вокруг меня. Я не пошла в больницу. Весь этот день я провела в уединении, в воспоминаниях о брате.

Я не находила себе места, пока не получила первого письма. Он написал через двадцать дней после отъезда, шесть сухих строчек. Никаких подробностей. Он успокаивал меня относительно своего здоровья, настроения и занятий.

Оставалось выполнить две малоприятных задачи: предупредить Мари-Луизу, помешать ей уехать к нему, успокоить ее, посоветовать набраться терпения. Что касается второй задачи — выкупить бабушкины драгоценности, — средство было одно: экономить и ограничивать себя. Что произойдет, если я не успею расплатиться до ее возвращения? Совесть меня мучила, я предпочла, чтоб она ни о чем не знала. Страх заставил меня принять решение, которому предстояло изменить всю мою жизнь. Я высчитала, что накоплю нужную сумму за три месяца. Значит, бабушку придется продер-

жать в больнице весь срок, предписанный врачами. Это было не просто. Она плакала, умоляла; я клялась, что речь идет только о коротком продлении, для отдыха, что я готовлю дом к ее приезду. Она бранила меня, грозила умереть, потом враждебно замолкла.

Я поехала к Мари-Луизе и сообщила об отъезде Люсьена, как о прекрасной новости. Он найдет работу, сможет содержать жену и Мари. Мои доводы ее не убедили. Я нарисовала блестящие перспективы, открывающиеся перед братом. Я лгала, говорила, что он уехал всего на несколько недель. Она покорилась. Я с облегчением покинула ее.

Я много работала, то взвинчивая себя самолюбованием, то одуряя усталостью. Вечерами рано ужинала и рано ложилась. Это были лучшие минуты. День наконец отходил. Завтра я, возможно, получу письмо. Сон несет мне освобождение на несколько часов. Я не страдала от вечернего одиночества. Дом был мне защитой. Мне нравилось слово «защита» и все, что вставало за ним. Меня пленяла его шершавая звонкость. Это слово начиналось тем же слогом, что и «замок». Оно было эрзацем слова счастье. Довольство расслабившегося тела; приглушенный свет, открытая книга... Что был мне брат в эти минуты!

Целый месяц ни строчки. Несколько раз мне казалось, что жизнь покидает меня. Я чуть не падала в обморок у пустого почтового ящика. Потом пришло письмо на нескольких страницах. Люсьен работал.

«Я встал перед материальной необходимостью взяться за работу, трудную, но увлекательную. Я вольюсь в ряды подлинных борцов, разделю с ними нечеловеческую жизнь заводских рабочих. В гуще бретонцев, алжирцев, польских или испанских эмигрантов я приобщусь к действительности, к единственно подлинной, движущейся реальности. А после заводской смены меня будут ждать мои бумаги, мои тетради, ибо, старушка Элиза, мне предстоит дать показания очевидца за тех, кто сам не может этого сделать».

Следовало несколько принужденно-вежливых вопросов о здоровье бабушки, и странный постскрипту:

«В гостинице, где я живу, на некоторое время освободилась комната. Если хочешь ею воспользоваться, напиши мне, не откладывая, я замолвлю словечко управляющему. Поживешь несколько недель в Париже, пока бабушки нет дома».

Надеюсь, что ты согласишься, так как мне очень не хватает моей сестренки».

Конец сну, еде, работе. Соблазн преследовал меня, в голове бурлило: уехать, жить рядом с Люсьеном. Париж, настоящая жизнь, Люсьен на заводе. Последнее меня огорчало,

но я убеждала себя, что он встал на этот путь ради апостольского служения.

Уехать? Но как? А бабушка? Кто станет ее навещать? Люсьен уточнял: «несколько недель». А потом? И как я там буду жить? А драгоценности, на выкуп которых я уже почти скопила деньги? Я открыла окно и высунулась. Женщины смеялись первым неуклюжим шагам ребенка. Из быстро, на другой стороне улицы, доносилось пьяное пение. Девушки, похожие на Мари-Луизу, заигрывали с парнем. «Животная жизнь. Они пробуждаются, только чтоб защитить интересы своей корпорации, своего клана — докеров, служащих или дорожников. От них ничего не дождешься. Искать надо в другом месте». Эти мысли владели мной, когда с реки повеял теплый ветерок. Я ощутила его на лице и не стала разбираться в причинах внезапно охватившей меня радости. Уеду. В тот же вечер я написала Люсьену. Мне понадобилась целая неделя, чтоб подготовиться к отъезду, — настолько невероятным было это событие. Я отправила в контору Пуэс предупреждение, написанное в несвойственном мне уверенном тоне, что буду отсутствовать в течение двух месяцев. Убрала наши три комнаты. Посыпала плитусы порошком против тараканов, которые не преминут явиться, выстирала и выгладила всю свою одежду, но так и не набралась храбрости сказать бабушке о предстоящем отъезде. Напишу ей из Парижа, солгу, ничего не поделаешь, оправдаюсь внезапной болезнью Люсьена.

«К тому же, — сказала я себе трусливо, — через два месяца я вернусь».

Входя в вагон, я засмеялась. Люди на неслыханных скоростях пролагают новые пути, а я впервые еду поездом. Но то был поезд реванша. Настоящая жизнь не могла не начаться.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Человек, который щупает утром носки, затвердевшие от вчерашнего пота, и затем их с трудом надевает, И надевает рубашку, затвердевшую от вчерашнего пота, И думает утром, что умоется вечером, А вечером думает, что умоется утром, Потому что он слишком устал...

Р. Деснос¹

Я прислушивалась к дождю. Он падал на цинковый выгиб стока как раз под окном. Дождь лил уже неделю. Я приехала двадцать дней назад, и управляющий, читая карточку, которую я заполнила, хмыкнул: «С приездом в дождливые края!» Париж тонул, я видела только влажный блеск, низкое небо. Возле

¹ Перевод М. Кудинова.

окна комната была светлой. Кровать, покрытая коричневым плюшем, скрывавшим железные ножки, затемняла угол налево от двери. Двумя этажами ниже Люсьен обсуждал с другими мою судьбу. Я ждала. Капли расплющивались о плиты. Я подошла к ночному столику и включила проигрыватель. Отрегулировала, чтоб музыка струилась негромко. Это была португальская песенка, Люсьен перевел мне название: «Когда подымается ветер». Мне нравилось начало, дрожащее, синкопированное. Что они решат? Я села на кровать. Конец передышке. Комната была им нужна, а я не хотела ее покидать. Они обсуждали это без меня.

Дождь перестал. Я открыла окно и высунулась. Здесь не было ни деревьев, ни травинки, только сухие перекрещивающиеся линии, и среди них струи дыма, черные или белые. В этом пейзаже было что-то грустное, пронзительно-трогательное. Гостиница возвышалась на несколько этажей над соседними домами. Вечером, в часы тумана и фонарей, комната казалась мне подвешенной, плывущей в ирреальном, пугающем мире.

Подергав ручку двери, вошел Люсьен.

— Пойдем, Элиза, мы объясним тебе, как поступить.

— Комнату нужно освободить? — спросила я, спускаясь.

— Увы, да. Но мы нашли выход.

Он обогнал меня. Его комната была на третьем, в конце длинного сумрачного коридора. Он открыл дверь и знаком пригласил меня. Там были два парня примерно того же возраста, что и брат, — они сидели или, точнее, валялись на кровати, — и женщина, лица которой я не видела.

— Итак, — сказал Люсьен, — Вера, здесь присутствующая, займет комнату Робера.

Вера кивнула. Она была красива, но неулыбчива. Ее платье показалось мне элегантным. Трудно было представить себе, что у нее нет комнаты.

— Я поночую некоторое время у Мишеля, а ты, Элиза, поселишься у меня.

Я робким голосом выразила согласие. Решение огорчило меня. Комната, более просторная, чем та, которую занимала я, была темной, окно выходило на улицу. Сквозь занавески я читала вывеску напротив: «Соборная булочная».

— Еще одно, — сказал Люсьен, — капиталы идут на убыль. Я должен вернуть тебе то, что ты мне дала. До отъезда я рассчитаюсь с тобой. Но как быть тем временем? Не хочешь ли поработать?

Зачем спрашивать об этом перед посторонними? Как отказаться? Это он нарочно, рассчитав заранее. Я заметила, что мне осталось всего несколько недель. Могу ли я до отъезда пробыть у него?

— Разумеется. Я предложил тебе рабо-

тать, потому что это могло бы заинтересовать тебя. Да и деньги здесь летят быстро. Но...

Я почувствовала, что приперта к стенке, пусть делает, как хочет.

Внезапно меня потянуло домой, в привычный город, к бабушке, к нашей замкнутой жизни. Меня пугали люди, пугала жизнь.

Вера, не обращая на меня внимания, открывала ящик за ящиком. Я быстро уложила свои вещи. Хотелось плакать. Украдкой я взглянула в окно. Дождь снова колотил о водосток, и звук этот больно отозвался во мне. Вера взяла пепельницу. Я подала ей руку. У нее была белая рука с маленькими красными лепестками лака на кончиках пальцев. Она протянула их растопыренными, я сочла этот жест изящным.

Я не видела Люсьена три дня, потом нашла его, вернувшись вечером, перед своими дверьми.

— Я ждал тебя, — сказал он. — Как дела?

Он был грязен. Старые серые брюки измяты, покрыты пятнами. Канадка засалена, башмаки не чищены. Когда он расстегнулся и сел, его неопрятный вид поразил меня еще больше, чем одежда. Он был небрит, за ушами грязь. Руки и в особенности длинные ногти черным-черны. Он догадался, о чем я думаю.

— Находишь меня грязным? Я так устал, что ни о чем, кроме сна, думать не могу. Завтра воскресенье, помоюсь. Ну, расскажи, что подельваешь?

Я коротко рассказала. Я знала, что он пришел не за тем, чтоб осведомиться о моих новостях. Принес ли он мне хоть немного денег? Его сузившиеся глаза казались опухшими. Он, должно быть, совсем не спал. Взгляд был тусклый, грустный, как и весь его облик. Даже голос переменялся. Стал суше, ниже. Изъяснялся он, экономя слова, и ограничивался в моем присутствии невнятным шепотом, в котором я едва разбирала, основное: «Порядок, жми, давай, валяй, я пошел, приветик, заметано» — и несколько свежеприобретенных ругательств.

В тот вечер он раскошелся на настоящий разговор. У меня возникло дурное предчувствие, так как он пустился передо мной на ораторские ухищрения.

— Ты помнишь Анну?

— Разумеется.

Я уже готова была отпустить какую-то шутку, но вовремя сдержалась. Он холодно глядел мне в глаза. Я произнесла «разумеется» тоном, возбудившим в нем подозрения. Я повторила:

— Да, да, конечно.

На этот раз я постаралась, чтоб мой голос звучал естественно.

— Анна приезжает.

Этого я не ожидала и почувствовала, что краснею. «Слишком сложно тебе сейчас объяснять...» Долгие годы это была его фраза-алиби, его укрытие, отчаянный и нелепый жест

самозащиты. Всякий раз, когда казалось, что завязывается беседа, я уже ждала этой фразы.

— Да, она будет здесь завтра или послезавтра. Ни к чему тебе объяснять, это заняло бы слишком много времени... Только, видишь ли, насчет комнаты... Просто не знаю, что делать, — сказал он фальшивым голосом.

«И зачем только я ее позвал сюда, — вертелось, должно быть, у него в голове. — Придумал тоже!» Он сидел, расставив ноги, уронив руки между колен. Щетина, головокружительно пустые глаза, втянутые щеки, две угрюмые морщины между бровей, грязная рубашка — человек дна, — сострил бы Анри. Я представила себе его утром, одиноко рыщущим в поисках обжигающего глотка кофе, который он сам не способен приготовить. Игра была проиграна, но я все же решила бороться.

— Я должна уехать? — спросила я, не оставляя ему выхода.

Ему было трудно сказать да.

— Как же поступить? — вывернулся он.

Так мы играли несколько минут, я ощутила, что его терпению приходит конец.

— Куда ты отправишь меня на этот раз? — сказала я.

Он не ответил. Он совершенно раскис. Куда девалась его бывшая вспыльчивость?

— Я сниму тебе комнату с поденной оплатой в какой-нибудь гостинице поближе, чтоб ты не чувствовала себя оторванной. А в свободные часы буду искать. Повидаю Анри, других ребят... Мишель знает один пансион неподалеку отсюда...

— А пока?

— А пока оставайся здесь. Я сам поселюсь в комнате с поденной оплатой.

— Нет, — сказала я, смягчаясь. — Мне обойдется дешевле, чем... вам двоим.

— У тебя осталось немного денег из...

— Да, вот пять тысяч. Я пуст.

— Как же ты?

Он отмахнулся.

— Может, ты думаешь, что деньги, в самом деле, важны? — кинул он.

— Не совсем так. Я думаю, что мы рискуем потерять из виду нечто важное из-за того, что нет денег.

— Это одно и то же, — вздохнул он.

Несколько минут он пытался заставить себя заинтересоваться нашим разговором, но я скоро поняла, что он утратил нить. Его остановившиеся глаза блестели. Приезд Анны уже владел его воображением.

Я задыхалась от любопытства, но не задала ни одного вопроса.

— Нужно выехать сегодня же?

— Да нет! — запротестовал он. — Оставь ключи внизу, у управляющего. Вот и все. К завтрашнему вечеру я тебе что-нибудь подыщу.

Утром я уложила чемодан. «Справедливее

было бы, если б он оставил здесь меня. Анне к гостиницам не привыкать. Ему точно доставляет удовольствие швырять меня с места на место. Вернусь домой».

Анна всего лишь декорация, мастерски выстроенная конструкция, ложь, видимость. Если ее обнажить, останутся тощие ляжки, чуть заметные груди, дурной цвет лица, свойственный страстным натурам, широкие, слишком далеко расставленные глаза, огромные шрамы на шее, следы золотухи, перенесенной в отрочестве, неистребимая лень, гордыня, находящая себе удовлетворение в приступах демонстративного самоуничтожения, постоянная потребность в постели, в тепле, во сне, непритворное безразличие к еде, и негустые длинные волосы, венчающие все это здание. Анна — это не знающее удержу воображение: она видит себя не такой, как есть, и строит из себя такую, какой себя видит. Для Люсьена Анна — хрупкий тростник. Все ненатурально. Волосы, которые она начесывает, ресницы, которые она красит, лицо, которое она лепит, наклеивая волосы на щеки по заранее рассчитанной линии, искусственный румянец, острые груди под свитером. Обманывается ли Люсьен? Любит ли он тот образ, который она ему предлагает, или подлинную Анну, неудавшееся творение, трогательное в своих усилиях? Он покоролен всем ее ухищрениями. Она наколоты на картон его души как редкая бабочка. Пленница придуманного образа, она показывается ему только в облике разыгрываемой роли. Встает ночью, чтобы снять грим, поднимается на рассвете, чтоб наложить его.

Они внесли свои чемоданы, в каждом из них — письма другого. Она пишет ему: «твоя робкая антилопа» или «твоя женщина-ребенок». Он отвечает ей: «...как лиана в моих объятиях».

Но сегодня утром, когда я пришла за своими вещами, я нашла ее еще в постели. Поскольку Люсьен уходит в пять часов, она не сочла нужным встать. Она подскочила к столу, чтоб завернуться в пальто. Я увидела лопатку, торчащую как крыло, тощие ноги и лицо, грустное, как пляж после отлива.

Мы никогда не знаем, что сказать друг другу. Она предложила мне кофе. Я сказала, что выпью. Я следила за ней, присматривалась к ее животу. Он показался мне нормальным, плоским. Но Анна никогда не говорит о себе. Я все же почувствовала, что она не в своей тарелке. Это доставило мне удовольствие. Я спросила:

— А у нас погода лучше?

— Не знаю.

— Простите, я думала, вы оттуда.

— Да нет.

«Если я буду задавать еще вопросы, она расскажет Люсьену». Мы поговорили о Париже; она попросила извинения за комнату; Люсьен, — сказала она, — настаивает на том,

чтоб я приходила к ним ужинать, когда захочу. Долго ли я намерена оставаться в Париже?

Я перед Анной теряюсь и робею. С Мари-Луизой все было просто. Теперь я жалею о ней.

Мишель отвел меня наконец в Дом Женщины. Комната с двумя кроватями, разделенными плотным занавесом. Этажерка, вешалка, умывальник, окно, выходящее на улицу. Три тысячи франков в месяц. Мне все понравилось, показалось почти роскошным. На первом этаже была большая кухня, открытая с шести утра, где каждая могла выпить кофе с молоком, приготовленный накануне.

— По-тря-са-ю-ще, — сказал Люсьен. — Тебе хватит денег на целый месяц, успеешь осмотреть весь Париж.

— А ты, Люсьен?

— Ну, я, — сказал он, — я за эти две недели потерял немало рабочих часов. Пойду к Анри — может, он выручит. У тебя не осталось какой-нибудь мелочи из этих пяти тысяч? В пятницу я верну... Знаешь, что надо бы сделать? Послать какой-нибудь сувенирчик бабушке. Как ты думаешь? Эйфелеву башню, платок...

— О, Люсьен...

— Купи от моего имени, я верну тебе деньги из полочки.

Я была так тронута, что предложила помочь ему.

— Хорошо бы, — сказал он, без всякого энтузиазма. — Я тебе еще должен немного, не так ли? Через месяц я выкарабкаюсь. И смогу даже послать небольшой перевод... туда.

— Сколько тебе нужно пока что?

— Ну, две, три тысячи.

Я дала ему.

Я получила два письма от бабушки в ответ на свои. Она жаловалась и умоляла меня приехать за ней.

Однажды вечером, когда я собиралась уходить от них, Люсьен внезапно спросил меня:

— Элиза, хочешь работать со мной?

— Но я же скоро уеду, Люсьен! — сказала я.

— Ты собираешься вернуться домой?

— А какая работа?

— Им нужно рассчитывать премиальные, разные надбавки, они берут девушек на контроль. Платят сто восемьдесят пять в час.

— Нет, Люсьен. Я должна ехать. Ты читал бабушкино письмо. Скажем, я останусь до ноября и попытаюсь заработать деньги на обратный путь. Не могу же я бросить их всех.

Он дулся на меня весь вечер. В девять я вышла от них и пешком отправилась в Дом Женщины. Под мелким теплым дождем предложение Люсьена вдруг опьянило меня. Не уезжать, ежедневно видеть его, приобщиться, хоть отчасти, к его жизни...

«Это начало», — говорила я себе, не зная, чего, собственно, это начало.

Я наконец поняла, что деньги он мне не вернет. Анна не работала. Она достала книги; они вместе изучали бог знает что: вперемежку английский, журналистику, фотографию, восточные цивилизации, всякую дребедень, извлекающую из своих занятий чувство превосходства.

— Дело твое, уезжай, если хочешь...

— У меня на это нет денег, ты знаешь. Ладно, я согласна, я поработаю здесь два месяца.

— Четыре полочки. И я тебе верну...

— Не надо. Ничего мне от тебя не надо. Думай о себе. Достиг ли ты чего-нибудь?

— Я обогатился. Не в плане финансовом, это — нет.

— Пять лет это слышу. А твое здоровье? Ты похудел, если бы бабушка увидела тебя...

— Но она меня не видит, вот что приятно. Туда я никогда не вернусь. Здесь мы хоть что-то делаем.

— Клеите плакаты. Это тебя удовлетворяет?

— Не твое дело! — закричал он, обрывая меня. — Не суй нос куда не следует.

Он протянул мне тарелку с фруктами.

— На, ешь и молчи, — сказал он мягко.

— А эта работа на контроле, ты уверен, что я сумею?

— Попробуешь. Не получится, бросишь.

— Ты отведишь меня завтра?

Мне было по-настоящему страшно.

Путь казался бесконечным. Мы сели в автобус у ворот Ла-Шапель и вылезли у ворот Шуази.

День вставал ясный, безоблачный. На деревьях бульвара Массена пробуждались птицы, от них исходила заразительная бодрость. Я тщательно причесалась и была довольна своим видом.

— Привет, привет, привет, — говорил брат всем, кто протягивал ему руку.

Мы подошли к огромной стене с гигантскими железными воротами.

— Встань сюда.

— Не оставляй меня, Люсьен.

— Подожди меня пять минут.

Я забила в угол возле самых ворот, никто не обращал на меня внимания. Поднималось солнце; оно вылезало из-за крыш домов, стоявших против завода, и казалось не больше апельсина.

Люсьен вернулся в сопровождении высокого широкоплечего мужчины, с открытым, улыбающимся лицом.

— Познакомься, это Жиль, мастер.

Тот крепко пожал мне руку.

— Значит, так, подождите где-нибудь до восьми, потом зайдете сюда.

Он указал на застекленную дверь с надписью «Отдел найма».

— Скажете, что мосье Жиль в курсе дела. Я подтверждаю. Они займутся вашими бумагами, пройдет медицинский осмотр, вас проводят в семьдесят шестой цех. Это конвейер, — многозначительно сказал он. — Люсьен предупредил вас?

— Да, мосье.

— Ладно, ну, до скорого.

— А если они не захотят?

Он расхохотался.

— Вернее было бы сказать: «...А если я не захочу». Они возьмут вас. До скорого.

Люсьен обернулся ко мне.

— Не волнуйся, — сказал он.

— Все в порядке.

Мне и в самом деле было хорошо. Жиль, Люсьен... Обо мне заботились. Нужно было переждать три четверти часа. Я свернула за угол и пошла куда глаза глядят. Улица упиралась в пустырь, вдали возвышалось несколько больших новых зданий.

Без четверти восемь я вернулась к отделу найма. Несколько мужчин, по большей части иностранцев, уже ждали. Они странно посмотрели на меня. В восемь часов вышел сторож в фуражке, резко захлопнув за собой дверь.

— Тебе чего? — спросил он у одного из мужчин, привалившегося к стене.

— Наняться на работу.

— Не берем, — сказал тот, покачав головой. — Ничего нет.

— Да?

Мужчина не двигался с места, скептически глядя на сторожа.

— Не берем, — повторил тот.

Мужчины топтались на месте, никто от двери не уходил.

— В газете написано, — сказал один из них.

Сторож подошел и крикнул ему прямо в лицо:

— А ты что — умеешь читать, писать, считать?

Они стали понемногу отходить, медленно, неохотно. Один из них что-то говорил, наверно по-арабски, часто повторяя слово «ситроен». Потом они разошлись и скрылись за воротами.

— Вам что? — спросил сторож, оборачиваясь ко мне.

Он оглядел меня с головы до кончиков туфель.

— Я должна записаться. Мосье Жиль...

— Наняться на работу?

— Да, — сказала я оробело.

— Идите.

И он раскрыл застекленную дверь.

В конторе что-то писали четыре женщины. Мне задали вопросы, я ответила. Одна из них позвонила по телефону, усадила меня, и я принялась заполнять анкеты.

— Вам известно, что работа не канцелярская? — сказала она, заполняя карточку.

— Да, да.

— Хорошо. Выйдете отсюда, пересечете улицу, увидите, как раз напротив, дверь с надписью «Социальное обслуживание», на втором этаже пройдет медицинский осмотр.

В зале ожидания нас было пятеро: четверо мужчин и я. Большой плакат гласил: «Курить запрещается», ниже то же самое было напечатано арабскими буквами. Мы ждали два часа. Под конец один из мужчин, сидевший рядом со мной, закурил сигарету. Пришел врач, за ним следовала секретарша с нашими карточками. Осмотр был недолог. Доктор спрашивал, секретарша записывала. Он задал мне несколько щекотливых вопросов, увидев, что я краснею, не настаивал, и велел мне показать ноги, так как работать придется стоя. «На рентген», — позвала секретаршу. Снимая свитер, я растрепала свою прическу, зеркала, чтоб ее поправить, не было. Доктор одернул алжирца, который шел впереди меня — тот шевелился перед аппаратом.

— Как твое имя? Как? Сразу и не выразишь. Тебя зовут Мохамед? — Он засмеялся. — Всех арабов зовут Мохамедами. Ладно, годеи. Следующий. Ах, оказывается — следующая...

Кончив, он отвел меня в сторону.

— Почему вы не попросили места в конторе? Вы знаете, куда вы идете? На конвейер, со всеми этими иностранцами, там много алжирцев. Вы не сможете там работать. Вы для этого слишком хороши. Поговорите с общественной уполномоченной, может, она что-нибудь для вас сделает.

Сторож ждал нас. Он просмотрел наши карточки. На моей стояло: «цех 76». Мы поднялись в огромном лифте на третий этаж. Там женщина, сортировавшая мелкие детали, спросила сторожа:

— Много сегодня?

— Пятеро, — сказал он.

Я смотрела на нее, мне хотелось, чтоб она мне улыбнулась. Но она глядела сквозь меня.

— Вам сюда, — сказал сторож.

К нам шел Жиль. На нем был белый халат. Он сделал мне знак следовать за ним. До меня донесся гул, я задрожала. Жиль открыл тяжелую дверь и пропустил меня вперед. Я остановилась, глядя перед собой. Он что-то говорил, но разобрать я не могла. Я была в цехе 76.

Машины, молоты, механические пилы, станки, моторы транспортера издавали, каждый на свой лад, адский шум — стук, гул, лязг, пронзительный, рвущий уши скрежет. В первый момент мне показалось, что случилась какая-то катастрофа. Так не могло продолжаться. Какие-то звуки этого нечеловеческого хаоса должны были стихнуть. Жиль заметил мое удивление.

— Шумно! — крикнул он мне прямо в ухо.

Его это, очевидно, не стесняло. Цех был огромен. Мы шли, перешагивая тачки и ящики, и когда мы приблизились к рядам станков, где

работало много мужчин, вдруг раздался крик и покатились по цеху, подхваченный, как мне почудилось, всеми.

Жиль улыбнулся и наклонился ко мне.

— Не пугайтесь. Это из-за вас. Так бывает всякий раз, когда сюда входит женщина.

Глядя в пол, я шла, сопровождаемая этим ревом, несшимся со всех сторон.

Справа от меня медленно ползла змея автомашин, но я не смела взглянуть на нее.

— Подождите, — крикнул Жиль.

Он завернул в застекленную клетку, выстроенную посредине цеха, и тотчас вышел из нее в сопровождении молодого, безукоризненно аккуратного мужчины.

— Мосье Бернье, ваш бригадир.

— Это сестра Летелье! — прокричал он.

Мужчина кивнул.

— Есть у вас халат?

Я отрицательно покачала головой.

— Пойдите все же в раздевалку. Бернье вас туда проводит, оставите там пальто. Только вы тут перепачкаетесь. И сандалий тоже нет? Казалось, это его раздосадовало.

Пока мы стояли и разговаривали, крик умолк. Но стоило нам с Бернье двинуться, возобновился снова. Я старалась не глядеть по сторонам.

— Их теперь на три дня хватит, — дохнул мне в ухо Бернье.

Ключ от раздевалки был у сторожа.

— Приходится запирать, воруют, — объяснил Бернье.

Я кинула пальто и сумку. В раздевалке было темно, свет падал только из двух зарешеченных окошечек под потолком. Пахло мочой и артишоками.

Мы вернулись в цех. Бернье провел меня в самую глубину, в ту часть, которая выходила окнами на бульвар. Широкие стекла были покрыты белой краской, в некоторых местах процарапанной, очевидно, рабочими.

— Вот конвейер, — сказал с гордостью Бернье.

Он помог мне вскарабкаться на своего рода помост, сбитый из деревянных реек. Машины медленно двигались, внутри них копошились люди. Я поняла, что Бернье мне что-то говорит. Я не расслышала и попросила прощения.

— Ничего, — сказал он, — привыкнете. Только вы тут перепачкаетесь.

Он окликнул какого-то мужчину.

— Это мадемуазель Летелье, сестра вон того длинного. Возьмешь ее на контроль, поработаешь вместе с ней два-три дня.

— Так. Значит, теперь на контроле будут женщины?

С недовольным видом он сделал мне знак следовать за ним. Мы перешли конвейер, протиснувшись между двумя машинами. Я споткнулась и, потеряв равновесие на движущейся

ленте транспортера, ухватила за спутника. Он был уже не первой молодости, в очках.

Изгибаясь, транспортер конвейера медленно двигался по покато́й плоскости, неся на себе прочно закрепленные машины, люди торопливо влезали в них и вылезали. От шума, движения, дрожи деревянных реек, запаха бензина мне стало нехорошо, я задыхалась.

— Меня зовут Доба. А вас как? Ах да, Летелье.

— Вы знаете моего брата?

— Разумеется, знаю. Вон тот, длинный.

Он потянул меня влево и показал пальцем на станки.

Конвейер господствовал над цехом. Мы стояли у его начала. Он огибал колоссальный цех и кончался где-то далеко. По другую сторону прохода стояли станки, на которых работало много мужчин. Доба указал мне на одного из них: рабочий в берете, в маске, предохраняющей глаза, в спецовке, держал в руке, обернутой в тряпки, пульверизатор и направлял струю краски на мелкие детали. Это был Люсьен. Из-за прикрытия машин, двигавшихся мимо нас, я внимательно рассматривала мужчин, работавших в той части цеха. Одни малярили, другие колотили по деталям, подвешивая их затем к тросу. Деталь переходила к следующему. Здесь было самое грязное место цеха. Лица мужчин, одетых в запятнанные комбинезоны, были перемазаны. Люсьен меня не видел. Доба окликнул меня. Я подошла, он протянул мне металлическую планку, на которой лежал картон.

— Возьмите карандаш. Пошли.

Он поднялся к истоку конвейера. Я следовала как тень, чувствуя на себе множество взглядов и пытаюсь видеть только вещи. Я старательно ставила наискось ноги на рейки помоста. Приходилось то подниматься, то спускаться. Доба взял меня за руку и помог влезть в машину.

— Смотрите сюда.

Он показал мне на сделанную из пластика панель приборов.

— Если есть брак, вы должны отметить. Видите? Здесь плохо натянуто. Вы должны записать. А тут? Видите?

Он осмотрел дворники.

— На месте. Порядок. А противосолнечный щиток? Разорван! Значит, записываете: разорван противосолнечный щиток. Но нужно все делать быстро. Смотрите, как мы отстали.

Он выскочил из машины, помог выскочить мне. Мы были далеко от места, где забрались в машину.

— Следующую сделать не удастся, — сказал он обескураженно. — Ничего не попишешь. Скажу Жилю. Попробуем эту.

Мы принялись снова. Он работал быстро. Бросал: «тут, там», «здесь складка», «здесь нет зеркала» или «зеркало поставлено криво». Я ничего не понимала.

Несколько минут я утешала себя мыслью, что завтра не вернусь сюда. Не по мне это — подниматься, спускаться с конвейера, влезать в машину, осматривать все за несколько минут, записывать, прыгивать, бежать к следующей, подниматься, прыгивать, осматривать, записывать.

— Поняли? — спросил Доба.

— Почти.

— Тут требуется не «почти», — сказал он, покачивая головой. — Не могу я понять, зачем они заставляют этим заниматься женщин. Я должен поговорить с Жилем. Если так будет продолжаться, плакала моя премия. Я пропустил три машины.

Мы опять поднялись к началу конвейера.

— Ну, здесь порядок, — сказал Доба.

В машине, куда мы забрались, было пятеро мужчин. Один закреплял болты, второй приколачивал уплотнители на край дверцы, остальные набивали панель приборов.

— Поворачивайтесь, — сказал Доба, — вы опаздываете!

Он растолкал их. Мужчины, впрочем, прекратили работу и рассматривали меня.

— Теперь, значит, женщины будут? — сказал один.

— Да, ну и что? Работай, ты уже отстал на одну машину.

Тот, кто говорил, — это был араб, — засмеялся и обратился к другим на своем языке.

Теперь нас в этом каркасе было семеро. Мы сидели на корточках прямо на железе: обивку и сиденья должны были установить много позже.

— Начинаете разбираться? — спросил Доба.

— Да, мне кажется.

— Следующую сделаете сами. Я потом проверю.

Споткнувшись — что вызвало смех одного из парней, — я вылезла из машины и подождала, пока подойдет очередная. Держа листок в руке и опираясь спиной о дверцу, чтоб сохранить равновесие, я попыталась что-нибудь разглядеть. Локтем я касалась спины мужчины, который что-то приколачивал. Когда я наклонилась к панели приборов, то чуть не грохнулась на рабочего, который собирался прикрутить зеркало. Он улыбнулся и помог мне встать. Я быстро выскочила из машины, но Доба исчез. Нужно было что-то отметить. Нельзя же наклеить пустой листок на задний пляж. Я только что узнала, что тут так именуют полочку под задним стеклом. Я поставила наобум: «нет зеркала», так как Доба отмечал это на каждом листочке. Что делать дальше? Без Доба я растерялась. Он вышел из машины, которая поравнялась со мной.

— Ну, как дела? Возьмите ту, что подходит, — сказал он.

Он подошел к предыдущей машине и прочел мой листок. Я сосредоточилась на новой

машине. Увидела складки на потолке и отметила: «складки». Рядом со мной был мужчина, он прикоснулся ко мне. Я сурово поглядела на него и только потом поняла, что он просит пропустить его. Я не слышала.

Кто-то влез в машину. Я обернулась. Это был Жиль. Он коротко объяснил мне что-то, но я не улавливала слов.

— Сейчас будет перерыв, — сказал он.

О, избавление... Не возвращаться после обеда.

Мужчины уже бросали работу и вытирали руки. Я не знала, куда мне деться на этот час. Едва прозвучал звонок, все рабочие бегом кинулись к выходу. Доба был рядом со мной, когда подошел Люсьен.

— Ну, как ты справилась?

Я поглядела на Доба, который одобрительно кивнул.

— Ну, она только начинает. Достанется ей. Тем более с этими ратонами¹. Отметим, что они плохо работают, тут же скандал. Но я буду рядом. Если кто-нибудь из них станет вам досажать, скажете мне. Только это не женская работа, я уже говорил Жилю.

— Да, — сказал Люсьен задумчиво. — Ты где будешь есть?

— Не знаю. А ты?

— В столовой. Хочешь талончик? Я могу дать тебе в долг.

— Пойду возьму пальто.

— Если хочешь, только побыстрее. Я по дождю.

Я вернулась в раздевалку. На скамьях болтали, жуя, несколько женщин. Они уставились на меня. Я поздоровалась и вышла.

Люсьен молчал. Я тоже. «Мне тяжело, я устала». Смешно. Какой смысл говорить об этом?

На улице я ощутила, что свежий воздух мне нужнее пищи.

— Извини, — сказала я Люсьену. — Я лучше похожу, уж очень погода хороша.

— Какое солнце! — вздохнул он. — И я с тобой. Правильно, ходим.

Мы перешли на солнечную сторону. Мимо шли рабочие с бутылками, хлебом.

— Эти едят в цеху. По большей части алжирцы — из-за свинины, которой кормят в столовой.

Он повернул на бульвар, который вел к Итальянским воротам. Мы нашли скамью и сели. Солнце грело в спину. Ноги у меня дрожали, а я проработала всего два часа. Осталось еще четыре с половиной. Люсьен развалился, вытянул ноги вперед, закинул голову, сложив руки крест-накрест на спинке скамьи.

— Ну, а начистоту? — сказал он приглушенным голосом. — Как тебе кажется, выдержишь?

¹ Презрительная кличка, которой французы называли североафриканцев.

— Выдержу.

Легко было это утверждать, отдыхая на солнце.

— Ты не испугалась, когда ребята заорали утром?

— Не испугалась, — я лгала. — Но почему они орут?

Он выпрямился и поджал ноги.

— Когда так работаешь, возвращаешься в скотское состояние. Звери видят самку и кричат. Животное выражение удовольствия. Они неплохие ребята. Немного пристают к женщинам, потому что лишены их.

— Я все же в ужасе от того, что видела.

— А что ты видела? Ничего ты еще не видела. Если выдержишь, останешься, обнаружишь многое другое.

— А ты, Люсьен, ты думаешь здесь остаться надолго?

— Не знаю, — сказал он. — Я должен был через это пройти, увидеть. Но иногда я боюсь, что не сдюжу. Я не могу есть, я отравлен краской... А все вокруг... какое разочарование...

— А Анри?

— Что Анри? Вечно ты мне твердишь о нем. Чего ты хочешь от него? Сдаст свои экзамены, получит прекрасное место, вот и все. — Он не мог ничем тебе помочь?

— Не в этом дело, — сказал он раздраженно.

Я не настаивала.

— Пойдем, надо все-таки перекусить.

Мы направились к Итальянским воротам. Некоторые рабочие, поравнявшись с нами, подмигивали Люсьену.

— Настоящее лето!

— Да, пить хочется, — сказала я.

Мы устроились на террасе кафе. На Люсьене была грязная спецовка, я не успела помыть руки. Ну и пусть... Это перерыв, нужно восстановить силы.

Брат заказал бутерброд, который мы поделили. Он выпил две кружки пива. Солнце вылизывало нас. Свежий воздух промывал легкие. В чистом осеннем небе точно светилась радость жизни.

— Видишь, жизнь рабочего начинается в ту минуту, когда он кончает работать. И поскольку несколько часов все-таки нужно спать, не так-то много остается для жизни.

Он встал и потянулся.

— И знаешь, брось все это, — сказал он с отвращением. — Овчинка не стоит выделки. Чего ты добьешься?

Я еще раз спросила его, чего ж он сам не бросает.

— А жить? Жить чем? Чем я, по-твоему, могу еще заниматься? Если бы я не был законченной сволочью, мне бы надо еще и посылать немного денег... туда.

Этот разговор глубоко опечалил меня. Совершенно упав духом, я пошла в цех.

Перед заводскими воротами кучка мужчин ожидала сигнала, некоторые сидели на земле, другие стояли, притулившись к стене, я удостоилась свистков и окликов. По цеху мне удалось проскользнуть незамеченной. Звонок еще не прозвенел, и многие курили. Я пробиралась между ящиками, стойками и машинами. Заплутавшись, я внезапно оказалась перед тремя мужчинами, которые что-то обсуждали. Доба узнал меня и подозвал.

— Это моя юная ученица, — объяснил он. — Идите сюда.

Он положил руку мне на плечо.

— Она сестра длинного, чернявого, Люсьена.

Все трое были примерно одних лет. Их комбинезоны были отглажены, зачищены, почти чисты. Доба представил их мне.

— Наш наладчик.

Тот вынул окурок изо рта и сплюнул табачную крошку.

— Да, это — я.

— А это — единственный специалист в цеху.

Этот был потолще, чем двое других, на его круглой физиономии поблескивали два голубых шарика.

— Нас только трое французов на весь сектор, — доверился он мне. — Представляете. Одни иностранцы. Ал-жирцы, ма-рокканцы, испанцы, югославы.

— Ваш брат в них души не чаает, — неодобрительно сказал наладчик.

— Люсьену все по сердцу.

— И напрасно. Он еще наплачется. С этими людьми невозможно работать. Но если они вам станут досажать, положитесь на нас.

— А Жиль? — сказал толстяк.

— На Жили плоха надежда.

Доба проявлял по отношению ко мне доброжелательность, не вязавшуюся с его утренним дурным расположением духа.

— Мы должны поддерживать друг друга. Он похлопал наладчика по плечу.

— Сейчас прозвонят, — сказал тот.

Я пошла на свое место. Некоторые рабочие спали в машинах. Другие растянулись прямо на полу, подстелив газеты.

— Вы только посмотрите, — сказал Доба. Он показал на тело, свернувшееся калачиком на груди стекловаты. Утром, неосторожно коснувшись ее, я ощутила страшный зуд.

— Думаете, это люди? У них не кожа, а кора.

Звонок всех поднял. Те, кто спал, медленно потягивались.

Взяв свою планку, карандаш и листок, я принялась за работу. Пришел Жиль, сказал, что проверит вместе со мной три машины, чтоб показать мне, как это нужно делать.

Я прилежно слушала. Он мгновенно обнаруживал брак, отсутствие деталей на лету.

— Видите?

Я повторяла: да. Я начинала соображать. Но мне хотелось бы, чтоб он рассказал, что происходило с машиной до того, как за нее бралась я.

— Мадемуазель Летелье, я попытаюсь как-нибудь сделать это, непременно. Но, понимаете, здесь разговаривать трудно. Если я остановлюсь, машины пройдут, задержится конвейер в целом.

— Ну что? — спросил Доба после того, как Жиль ушел. — Шеф вам все растолковал?

— Да. Потрясающе. Он сразу замечает брак.

— Естественно, как-никак, начальство...

Он иронически улыбался.

— Быстрее, — сказал он, — нам некогда терять время.

Я задела его. Но он просветлел, когда наладчик, проходивший мимо, крикнул ему что-то насчет его ученицы. Это придавало ему вес.

— Который час? — спросила я.

— Три. Устали?

— Нет, нет. Все в порядке.

— Смотрите, какое безобразие!

Доба потянул меня к машине и показал на противосолнечный щиток. Ткань над шарниром, натянутая слишком туго, лопнула.

— Все-то они торопятся. Сделают тяп-ляп десять машин подряд, а потом усаживаются отдыхать или бегут перекурить в уборную. Вот этот в особенности.

Он показал мне на круглую спину мужчины, сидевшего на корточках около окна.

— Эй ты, пойдй взгляни, что ты тут наделал.

Спина не двинулась.

— Отметьте, отметьте, — сказал мне Доба. — Тем хуже, пусть лишится премии. Они все равно долго тут не задерживаются. Раньше эту работу выполняли специалисты; три машины в час. Теперь — семь. Пишите: «Окраска заднего пляжа не соответствует нормативу».

Я мечтала остановиться, передохнуть. Ноги были как деревянные, суставы утратили гибкость, я двигалась все медленнее. Вскрабкавшись вслед за Доба в машину, я торопилась присесть на несколько секунд. Он заметил, что я не поспеваю за ним.

— Отдохните. Потом замените меня, а я покурю.

Сесть было не на что. Я забила между бачками с бензином. Тут я не могла никому помешать. Усталость отгораживала меня от всех, от всего, что происходило вокруг меня. Моторы конвейера ревели на четыре темпа, у них был свой музыкальный ритм. Самый пронзительный звук раздавался на третьем счете. Он иглой пронзал виски, вбуравливался в мозг и там взрывался. Сноп осколков поражал лоб, затылок.

— Мадемуазель? Ваш черед.

Доба протянул мне свою планку.

— Приступайте. Я вернусь. Обратите внимание на солнечные щитки.

Влезть, перешагнуть, присесть, посмотреть направо, налево, назад, вверх, сразу заметить брак, внимательно проверить контуры, углы выемки, провести рукой по уплотнителям дверец, записать, положить листок, перешагнуть, присесть в следующей машине, и так семь раз в час.

Я пропустила много машин. Доба сказал, что это не играет роли, так как он прикреплен ко мне на два, три дня. Жиль подтвердил ему это.

— Потом они перебросят меня на сборку.

Я следила за стрелками больших часов на его руке. Еще полтора часа...

Когда до конца работы оставалось меньше часа, силы вдруг вернулись ко мне, и я отлично проверила две машины подряд. На третьей порыв иссяк. Последние четверть часа я уже слова не могла выговорить, чтоб указать Доба неполадки. Некоторые рабочие очищали руки у бачка с бензином.

— Эти всегда прекращают работу заранее, — сказал мне Доба.

Я позавидовала.

Мы проверяли до последней минуты, и когда раздался звонок, Доба неторопливо уложил наши планки в шкафчик около окна.

Мной овладела неудержимая радость. Конечно. Я стала расспрашивать Доба, не прислушиваясь даже к тому, что он отвечал. Главное, выбраться из цеха вместе с ним, я боялась идти одна мимо всех этих мужчин.

В раздевалке женщины уже переоделись. Они громко разговаривали, и я, от радости, что сейчас уйду, расточала им всем улыбки.

Шесть часов, дневной свет еще не совсем угас, но на бульваре уже горят фонари. Я иду медленно, глубоко вдыхая уличный воздух, точно надеюсь уловить в нем смутный запах моря. Сейчас приду, лягу, подсуну подушку под лодыжки. Вытянуться на постели... Куплю первое попавшееся — фрукты, хлеб — и газету. На остановке передо мной человек тридцать, все на тот же автобус. Некоторые автобусы вообще не останавливаются, другие возьмут двух пассажиров и трогаются. Как только окажусь внутри, смогу опереться на что-нибудь, все-таки не так утомительно. На площадке автобуса, зажатая между двумя мужчинами, ничего не вижу, кроме курток, плеч, приваливающих к мягким спинкам. Толчки автобуса напоминают о конвейере. Мы движемся в его ритме. Болят ноги, спина, голова. Тело раздулось, голова стала огромной, ноги гигантскими, а мозг крохотным. Еще два этажа и, наконец, постель. Сбрасываю одежду. Хорошо. Умыться — я всегда говорила Люсьену, что это снимает усталость, повышает тонус, очищает душу. Однако сегодня я уступаю первому желанию — лечь. Умоюсь потом. Вытягиваю ноги, так они болят меньше. Гляжу на них и вижу, как нервно подергива-

ется что-то под кожей. Газета выпадает из рук, и я вижу свои чулки, черную пятку, напоминающую мне о ленте конвейера. Постираю завтра.

Потом я просыпаюсь. Горит свет, я на кровати. Рядом со мной кожура от двух бананов. Теперь мне не заснуть. Сквозь дремоту опять вижу себя на конвейере, слышу рев моторов, ощущаю в ногах дрожь усталости, спотыкаюсь, падаю, и вдруг, вскакивая, просыпаюсь.

Когда я покупала газету, киоскер еще только раскладывал свой товар. Он подвешивал лампу к брезентовому навесу, служившему ему крышей. Три колонки о ФЛН¹ и сборе средств для сражающегося Алжира. Аресты происходили ежедневно. На смену арестованным становились другие. Шел разговор о чрезвычайных мерах. В автобусе вокруг меня теснилось много алжирцев. Может, и они члены ФЛН? Убивают по ночам?

Мне нравилось, что путь долог. Иногда мелькали приятные пейзажи, виды Венсенского леса — освещенные окна среди деревьев, я обрадовалась за ними аромат свежего кофе и душистого мыла. В автобусе я просыпалась окончательно.

В раздевалку я входила одной из первых. Женщины пока со мной разговоров не заводили. Хотя молодая девушка, нанявшаяся после меня, была с ними уже в дружбе.

Я принесла старый халат, длинный, закрытый, предохранявший меня от масла и пыли.

Я работала уже четвертый день и начинала замечать что-то, кроме собственной усталости. Я обнаружила, что руки и ноги, двигавшиеся вокруг меня, принадлежат людям, что у этих людей есть лица.

Я вышла в цех до звонка, чтоб избежать улюлюканья мужчин, и увидела паренька, мастеровского какую-то табличку. Закончив, он положил ее на висевшие на крюке уплотнители — реборды, как здесь говорят.

Проходя мимо, я прочла:

«Нет рогать».

Прозвучал звонок. Отвратительный запах разогретых моторов мешался с запахом бензина. Нужно было преодолеть тошноту, размять ноги. Парень с плакатиком взвалил несколько реборд на плечо и вскарабкался в машину. Положил уплотнители на передние дверцы. Он был крупный, маленький, на измазанном маслом лице круглые, черные глаза любопытного зверька. Он сурово поглядел на меня. Машинально я поздоровалась. Он перестал прибавать.

— Сегодня вы здороваетесь? А почему вчера не здоровались?

Я растерялась и не ответила. Мне в голову не приходило здороваться и прощаться. Он по-

¹ ФЛН — Фронт национального освобождения Алжира.

жал плечами. Красив он не был. Я хотела оправдаться.

— Простите меня, — сказала я.

Но он уже закончил и побежал к следующей машине. Влезли другие, прибили, завинтили, вылезли. Никто со мной не поздоровался.

Подошел Доба.

— Ну как, сегодня полная самостоятельность? Дело пойдет! Я загляну к вам немного погодя.

Он был очень мил со мной. Ему нравилось, что я серьезна, сдержанна, не пересмеиваюсь с мужчинами.

Когда он вылез из машины, паренек, прибывавший реборды, презрительно сплюнул в сторону. До меня вдруг дошло, что он мог истолковать мое молчание как проявление расизма. Я подошла к нему.

— Простите меня, — сказала я.

Он обернулся.

— Что? В чем дело? — нетерпеливо спросил он.

Я сказала громче:

— Простите меня, я не осмеливалась здороваться.

— Вас не обучили правилам вежливости? — сказал он, наклоняясь ко мне. — А почему же вы в таком случае здороваетесь с начальством?

— Простите меня, — сказала я опять.

Он кончил прибывать.

— Извините, мадам, — сказал он церемонно. — Будьте любезны, позвольте мне пройти.

Его враждебность огорчила меня. Он пошел за ребордами, висевшими на крюке, и заговорил с кем-то. Мне хотелось бы проследить за ними, но машина увозила меня, нужно было выскочить и перебраться в следующую.

Немного погодя мы снова столкнулись, и я ему улыбнулась.

— Вы что, издеваетесь надо мной? — спросил он со злостью.

Я отвернулась и дала себе слово избегать его. Все утро мы наблюдали друг за другом, я старалась, чтоб он не заметил, как я устала, как теряюсь, когда не нахожу брака.

В двенадцать двадцать он прервал работу, сложил инструмент, оттер руки бензином и стал ждать звонка.

В половине первого он устремился к двери, и я потеряла его из виду.

Я не обедала в столовой. Люсьен сказал мне: «Тебе там не понравится, потом, там одни мужчины, а за моим столом нет места».

Я приносила что-нибудь с собой и ела в раздевалке, а потом немного гуляла вокруг завода. Одиночество томило меня. Без четверти два я возвращалась в цех, на свое место, старательно обходя спавших.

Около бачка с бензином торчал камень, я облюбовала его. Там меня обнаружил мой утренний враг.

— Вы сестра Люсьена?

— Ну да.

— Я думал, жена. А почему, — сказал он, окидывая меня инквизиторским взглядом, — у вас такой длинный халат? У других женщин короче.

Пораженная, я подняла на него глаза. Он уже отошел. Все разбрелось по своим местам. Сейчас двинется конвейер. Каждый раз, возобновляя работу, я думала, выдержу ли. Распорядок не предусматривал никаких пауз ни для отдыха, ни для самых естественных надобностей. Мужчины ловчили, ухитрялись передохнуть, но мне это пока не удавалось. Машина напознала, за ней другая, третья...

Время от времени меня навещал Доба. Я стала его подопечной, его ученицей.

— Мне хотелось бы, — сказала я ему, — посмотреть, как делается машина. Почему новеньких не проводят по всем цехам, чтобы они поняли?

— Внимание, вы пропустили складку — вон там. Почему?

— Да. Почему? Мы работаем, не понимая. Если знаешь, откуда машина приходит, куда она следует, можешь заинтересоваться работой, проникнуть в смысл своего труда.

Он откинул голову, снял очки, протер их и снова надел.

— А производительность? Вы представляете себе, если всем новеньким станут показывать завод? Признайтесь, — засмеялся он, — это из идей вашего брата! Внимание, машина.

Он спрыгнул в проход.

Внимание, внимание. Только это они и твердят с утра до вечера.

— Вы раньше где работали?

Это был паренек с ребордами. Он наклонил голову к плечу, придерживая их.

— Я жила в провинции.

Он отвернулся, чтоб приколотить уплотнитель.

— Зачем вы положили на ваши реборды табличку?

— Что?

Я повторила вопрос.

— Чтоб их никто не трогал. Я подготавливаю уплотнители заранее. Протыкаю гвоздиками. Посмотрите.

Он показал. Только тут я поняла смысл надписи: «Не трогать».

Я почувствовала к нему внезапную симпатию.

— Как вас зовут?

— А вам что? — сказал он удивленно.

И спрыгнул.

Мы снова оказались вместе в следующей машине. Он дубасил изо всех сил и вышел, едва я вошла. В третьей машине он ждал меня и сказал:

— Меня зовут Мюстафа. А вас?

— Элиза.

— Элиза? Это французское имя?

В пять часов, когда зажглись большие лампы, мои силы иссякли. Опасная заторможенность начисто мешала думать. Мной владела одна властная, навязчивая, неотступная мысль: сесть, вытянуть ноги. Все эти четыре дня, вернувшись домой после девяти часов конвейера и часа автобуса, десяти часов на ногах, я бросалась на кровать. Чтоб умыться, нужно было сделать над собой мучительное усилие. Сначала я перестала обращать внимание на туфли. Я больше их не чистила. В первые дни я сама себе была противна. Но незаметно это превращалось в привычку. Газеты я листала, не читая. И все же однажды вечером я потратила полтора часа на то, чтоб укоротить свой рабочий халат и сделать к нему пояс из отрезанного подола. Я надеялась, что мое тело приножится к усталости, но усталость все накапливалась и накапливалась.

В тот день Люсьен забежал ко мне перед концом работы и сказал: «Приходи к нам, поужинаем вместе».

Открыла Анна. Она была красива. Вероятно, все послеполуденное время ушло у нее на подготовку к выходу на сцену. Люсьен, лежавший на кровати, приподнялся:

— А вот и товарищ Элиза, ударник тяжелой индустрии...

— Замолчи, Люсьен, или я уйду.

— Не сердись, — сказал он.

Он потянулся, встал с кровати и подошел ко мне.

— Нет, правда, как дела?

Мы заговорили о работе, и его впервые заинтересовали мои суждения. Анна слушала, усевшись на кровать. Я рассказала Люсьену о Мюстафе. Он знал его, они вместе работали на конвейере. Мюстафе было девятнадцать лет. Он был моложе всех на конвейере. И всех несносней.

— Стучат, — сказала Анна.

Люсьен открыл. Вошел Анри.

— Это я тебе попомню, — сказал он Люсьену вместо здравствуй. — Ни слова за два месяца. Элиза, вы здесь? Я даже не знал. Добрый вечер. Привет, Анна. Ты что, не можешь написать, зайти?

— Нет, старик, — сказал Люсьен спокойно. — Я работаю, времени не хватает.

— Ну...

Он скинул плащ, положил его на кровать. Мы все, кроме него, чувствовали себя стесненно. Он завел с братом разговор о книгах, лекциях, театре.

— Ну, а ты, — сказал он, — чем ты занимаешься?

Люсьен похвалился своими ночными подвигами, числом расклеенных плакатов, лозунгов, написанных на стенах. Анри молчал.

— Так, значит, — сказал он после паузы.

— Ты собой доволен. Вот на что ты трагичешь пыл души. Лучшего уподобления своим способностям, чем расклеивать плакаты, ты не нашел. Слушаю я тебя и думаю: это ведь для тебя спорт, игра в прятки со шпиками. И ты полагаешь, что в этой мазне на стенах есть какой-нибудь толк?

— Разумеется, в книгах, постановке запрещенных пьес или организации лекций толку больше. Но это, прости меня, не моего ума дело. На мою долю остается мазня. Когда-нибудь, после окончания войны, о вас вспомнят, тогда как расклейщики плакатов...

— Ну так лучше спи по ночам, чем бегать с банкой клея по улицам. От тебя остались кожа да кости!

Люсьен побледнел. Анри задел его.

— С тобой спорить невозможно. Ты, кроме своих рабочих, ничего не хочешь видеть, — закончил Анри. И повернулся ко мне:

— Как Париж, Элиза?

Мы обменялись банальностями. Как все это было далеко от вечеров в нашем доме, пропахшем супом и чесночным соусом, куда доносился уличный гам. Что же ушло? Я по-прежнему была здесь, Мари-Луизу сменила Анна. Но, главное, миновала пора желаний. Мы вступили в жизнь, мы стали ее «участниками», как выразился Анри. Мы вышли на сцену.

Брат все же оттаял. Они с Анри вышли погулять вдвоем, как в былые времена, но я догадывалась, что спор их продолжался и на улице.

— Что вы думаете об Анри?

— Много всякого разного.

Волосы наполовину скрывали лицо Анны. Она сознавала собственную красоту. И это вызывало во мне зависть.

— Ох, — вздохнула я, — пойду лягу. Уже десять. Немного мне осталось поспать. И как только Люсьен выдерживает?

Она улыбнулась. Меня злила эта обдуманная манера уклоняться от разговора. «Скрытная, хитрая, лживая, фальшивая, фальшивая». Я представила себе Анну, с ее длинными волосами, на конвейере. Понравилась ли бы она Мюстафе? У меня тоже были длинные волосы. Мне бы хотелось, чтоб это стало известно Мюстафе, тощей, колючей обезьянке, спросившей меня: «А почему у вас такой длинный халат?»

Мелькание горизонта между голов и поднятых воротников. Сквозь стекла автобуса слезу за тем, как рассеивается туман.

Пятьдесят минут бегства из реального мира. На пятьдесят минут я во власти фраз, образов, слов, книг, прочитанных еще в школе. Их исторгали из моей памяти просвет неба, полоса тумана. На пятьдесят минут я вырывалась. Настоящая жизнь, ловлю тебя на слове, брат! Пятьдесят минут покоя, который только гремит. Тягостное пробуждение у ворот Шуа-

зи. Запах завода задолго до того, как входишь внутрь. Три минуты в раздевалке, долгие часы у цепи конвейера. Цепь, вот точное слово... Прикованы к своим местам. Сцеплены взаимной зависимостью. Но до братства еще далеко. Мне грезится осень, охота, обезумевшие псы. Люсьен презрительно называет это «литературщиной». Но ведь у него есть Анна: среди смазки и мазута, краски, замешанной на асфальтовом лаке, и вонючего пота для него брезжит надежда, воплощенная в любви... Несколько месяцев назад и у меня была надежда — бог. Здесь я ищу его, — значит, потеряла. Сближение с людьми удалило меня от него. Новые люди вошли в мое поле зрения, невидимый огонь взметнулся тысячами языков, и я полюбила людей.

Мюстафа насвистывал. Я боялась, что он не заметит моего укороченного халата и, главное, волос. Я подвизала их на затылке клетчатым пояском от халата. Мюстафа был задумчив. Он работал быстро, слишком быстро, я отметила уже три плохо прибитых реборды.

Я рассматривала задний пляж, когда кто-то влез в машину. Мюстафа испустил вопль восторга и бросил молоток. Мужчина, которого я видела со спины, присел возле него. Они поцеловались. Мюстафа смеялся, хлопал в ладоши. Машина увезла их, они болтали.

Что делать? Следовало ли ему напомнить, что работа не ждет? Должна ли я отметить: «не хватает реборды, не хватает...»?

Я подошла к рабочему, который устанавливал панели приборов. Дотронулась до его плеча. Он поднял голову и улыбнулся мне.

— Предупредите вашего товарища, — сказала я. — Он пропустил уже четыре машины. Мне бы не хотелось, чтоб у него были неприятности. Он пожал плечами.

— Пусть. Он — лентяй.

Другой, работавший рядом, наклонился, прислушиваясь.

— Кто? — крикнул он моему собеседнику, тот ответил по-арабски, указывая на Мюстафу.

Рабочий положил инструмент и побежал к машине.

Я вернулась на свое место. Мало-помалу мои мышцы привыкали. Но по ночам мне все еще снился гигантский конвейер, по которому я карабкалась.

Мюстафа подошел ко мне.

— В чем дело?

— Я хотела вас предупредить, вы пропустили четыре машины.

— Не ваша забота.

Он был недоволен и знаком показал, чтоб я записала.

— Отметьте, и все тут.

Новенький подошел к нему. Я отвернулась, но чувствовала, что они говорят обо мне, и не смела двинуться.

Они отошли от дверцы. Я спустилась и не-

сколько секунд не трогалась с места. Внезапно я ощутила жажду. Волнения, робость, насмешки Мюстафы — все вдруг слилось в этом первобытном желании. До перерыва оставалось около трех часов. Я привалилась к стене. Мюстафа как раз проходил мимо. Со своими ребордами, надетыми на шею, он был похож на заклинателя змей. Новенький держался рядом. Профиль у него был сухой, когда он говорил, под скулами обозначались впадины. Черное пламя горело под густыми бровями. Он улыбался, опираясь рукой о плечо Мюстафы.

Нужно выйти. Мне было нехорошо. Запах бензина подкатывал к моему рту, как клубы дыма. Я пропустила несколько машин. Как выйти? Я вспомнила о Доба. Он был где-то выше по конвейеру. Идя вдоль прохода, я увидела его, он натягивал пластик с помощью двух парней. Он заметил меня и удивился.

— Я больна, — сказала я. — Вы не замените меня на минутку?

Он глядел на меня округлившимися глазами.

— Вы бросили машины?

— Я больна.

— О-хо-хо!

Мне казалось, что все глядят на меня. Я испугалась. Здесь не так-то просто было заболеть. Это не было предусмотрено. Хорошо бы вернуться на свое место. Хорошо быть колесиком, которое никогда не выходит из строя. Но стоит пойти на перекус, ощущаешь свое тело, тяжесть в желудке, муть в голове...

— Деточка, — сказал Доба, стиснув мне руку, — ступайте. Вы бледны как смерть. Придумают тоже, женщину — на конвейер! Будете идти мимо, предупредите бригадира. Он кого-нибудь поставит. А я, видите сами, не могу отойти. Слишком он быстро движется. Саид, — позвал он, — проводи ее к Бернье.

Бернье сидел на высоком табурете перед пюпитром, почти подпирившим его подбородок. Одетый в слишком длинный халат, рукава которого были засучены, он казался хилым. Его лицо с вздернутым носом и глубоко спрятанными круглыми глазками было создано для улыбки. Он всегда выглядел довольным. Иногда он принимался орать во всю глотку, чтоб напомнить, что он начальство, рабочим, которые его в грош не ставили. Но его крики были похожими на жалобный лай и никого не пугали. Зато сам он просто дрожал, если к нему обращался Жиль.

— Так, — сказал он, когда я объяснила, — так, так.

Он раздумывал, как положено поступить.

— Ну, хорошо. Я дам вам талон на выход в санитарную часть. Вот. Четверть часа. Достаточно? Сейчас восемь пятьдесят, до девяти пятнадцать. И я, — добавил он печально, — сам заменю вас.

Он положил ручку. Он выводил готически-

ми буквами плакатики: «ТОРМОЗА», — «СТЕКЛОВАТА», — «КНОПКИ № 2».

— А где санитарная часть? Объясните, пожалуйста.

— Надо перейти через улицу. Но...

Он слез со своего табурета и тщательно выбрал карандаш.

— Но выходить не надо, пройдете через цокольный этаж.

Я не знала цокольного этажа.

— Внизу разберетесь, — сказал он, раздосадованный.

В этот момент к пюпитру подошел приятель Мюстафы.

— Привет, Резки, — крикнул ему Бернье. — Вернулся, значит?

— Да, пойду снесу бумаги на медицинскую проверку.

— Вот как, проводи ее тогда в санитарную часть, — обрадовался Бернье.

Я взяла талон, который он мне протянул, и пошла за человеком, именованным Резки. Когда мы подошли к двери, нас встретили улюлюканьем.

— У-у, у-у, — вопили мужчины.

Резки остановился и подошел к группе негров и алжирцев, встретившей нас столь шумно. Я сделала несколько шагов вперед и поравнялась с моим провожатым. Он что-то прокричал им по-своему и подтолкнул меня к двери. Когда она отделила нас от оглушительного грохота цеха, он сказал мне мягко: «Извините их». Потом добавил, как Люсьен:

— На заводе дичаешь.

Больше он не произнес ни слова и, казалось, забыл обо мне. Я следовала за ним по подземному ходу, связывающему две части завода.

— Вы давно здесь? — спросил он, когда мы выбрались наружу.

— Девять дней.

Он показал мне лестницу, которая вела в санитарную часть, и пошел дальше, в контору. Комната была небольшой, светлая, хорошо натопленная. Перед газовой плиткой сидела старая женщина в белом халате.

— Что случилось? — спросила она.

— Мне нехорошо, тошнит.

— Вы беременны?

Я возмущенно ответила, что нет.

— Сядьте.

Она мягко взяла мое запястье, потом вернулась к плитке, взяла чайник, выбрала стакан на полке, поставила его на стол передо мной. Я увидела, что на ней домашние туфли, обшитые мехом.

— Возьмите, деточка. Пейте не торопясь.

Это был какой-то отвар. Я наслаждалась минутой. Здесь, в чистом, теплом, залитом солнцем медпункте, где находились обычные вещи — чайник, от которого поднималась спиралька пара, мойка, выложенная белыми плит-

ками, стаканы, — нечеловеческие масштабы цеха, с его конвейером, металлическими стойками, запахом разогретого бензина, показались мне особенно ужасными. «Нет, я не останусь; еще пять дней, получка, — и я уезжаю».

Старая женщина взглянула на часы.

— Я подписываю ваш талон, деточка. Когда почувствуете себя лучше, пойдете.

Я тихонько пила отвар, дуя на него. Пальцы согрелись от стакана. Зазвонил телефон. Сестра подошла к аппарату, висевшему на стене. Пока она говорила, ее рука нащупала шпильку в прическе, вытщила, почесала в ухе. Бабушка часто так делала.

Куда-то отступили тепло, свет, кафель. Мои лживые послания, ее письма, написанные под диктовку кем-нибудь из больных, обвинения, проклятия и под конец просьба: «Возьми меня!» Я отвечала: «Наберись терпения, я здесь зарабатываю деньги. По возвращении сделаю ремонт и куплю тебе приемник».

Кто-то постучал в дверь. Она положила трубку и крикнула: «Войдите».

— Опять ты, — сказала она вошедшему.

Он был низкоросл, смугл, с вьющимися волосами.

— Что скажешь?

— Горло, — сказал мужчина.

— Конечно. Сядь. И поосторожнее с моими флаконами.

Я встала, поблагодарила и вышла.

Крикуны были заняты. Они заметили меня слишком поздно. Их вопли долетели до меня приглушенными, я отошла уже далеко.

— Вам плохо? — спросил Мюстафа, увидев меня.

— Уже лучше.

— Что? — сказал он, стараясь расслышать.

— Уже лучше! — прокричала я.

Наладчик, проходивший мимо, окинул меня суровым взглядом. Я вскарабкалась на конвейер. Бернье заметил меня и подошел за талоном.

— Пришли в себя?

Я кивнула. Мне в самом деле стало лучше. Мое рабочее место, мой, привычный, квадратик вселенной, успокоительное ощущение своей норы, крова, убежища.

Около десяти часов Бернье произвел перестановку. Пришел приятель Мюстафы, и Бернье подозвал рабочего, который закреплял зеркала. Это был иностранец. Мюстафа называл его «мажир». Доба сказал мне: «венгр», а Жиль уточнил: «мадьяр». Он не говорил по-французски и работал безмолвно, с каким-то остервенением перескакивая с машины на машину. Вообразив одиночество этого человека, лишённого каких бы то ни было контактов с окружающими, даже того грубого, но реального общения, которое возникает, когда мужчины перебрасываются ругательствами, я сочла свое положение привилегированным.

Бернье заглянул в машину, где была я.

— Резки! — позвал он.

Он схватил меня за руку и крикнул прямо в ухо:

— Теперь он будет устанавливать зеркала.

Он засмеялся. Он походил на жизнерадостного поросенка.

— Резки, — закричал он, — берегись, она все замечает.

— За сколько минут она все замечает? — холодно спросил тот.

Бернье отпустил мою руку и вылез. Алжирец быстро закрепил болты и, не глядя на меня, вышел из машины. Все утро я наблюдала за ним. Он работал споро и хорошо. Мы ни разу не оказались вместе. Он опередил меня, и я тщетно искала его глазами. Мюстафа валандался, пропускал машину, бежал, ругаясь, вверх по конвейеру. Иногда он делал мне знак и, настигая машину, устанавливал за несколько секунд свой уплотнитель.

Я доверилась его стремительности и ничего не отмечала. Столкнувшись с ним в одной из машин, я спросила, который час. Он положил свой молоток и показал мне десять растопыренных пальцев, потом еще два пальца. Полдень. Еще полчаса. Поставив свой ящик под панель приборов, Мюстафа блаженно курил. Это было запрещено. Он прикрыл глаза. Я подошла к нему.

— Ваш приятель отлично работает.

— Арезки? — спросил он сонным голосом.

— Его зовут Арезки? Мне послышалось Резки.

— Это одно и то же.

Он затыкнулся.

— Ступайте, — сказал он мне, — премию потеряете.

Я побежала к следующей машине. Я вышла из нее, когда пришел Арезки в поисках бачка с бензином, чтоб отчистить руки. Он взял большой комок стекловаты, скрутил из него тампон и передал соседу.

— Приятного аппетита, — сказал, подойдя ко мне, Мюстафа.

Аппетит у меня хороший. Я ем в раздевалке, где из единственного крана по капле сочится вода. Иногда, не дождавсь очереди, я ем, не моя рук. И падаю на скамью. Поем и лягу, скрутив пальто вместо подушки под головой. Тело отдыхает, какое блаженство!

После обеда ко мне подошел Жиль. Приятно было смотреть на его лицо активиста из рабочего предместья, решительное, твердое, ясное. Его прямой взгляд видел вас насквозь. Он незаметно сделал мне знак, мы отошли в сторону.

— Что случилось, мадемуазель Летелье? На одиннадцати машинах отсутствуют реборды, а вы ничего не отметили. Так, ступайте, — сказал он, подталкивая меня к подходившей машине. — Быстро проверьте и скажите мне результат.

Я вскарабкалась и машинально оглядела

машину. Неполладки улетучивались при моем приближении, но стоило мне отвернуться, возникали вновь. Большими дрожащими буквами я написала сама не знаю что.

— Сегодня утром я брала талон в медпункт.

— Да, знаю, но вас подменял Бернье. Нет, это случилось позже, перед обеденным перерывом.

Я молчала. Взгляд его не был сердитым. Приближалась следующая машина.

— Ступайте.

Я проверила, и когда я спустилась, он продолжал:

— Послушайте, мадемуазель Летелье, вы приходите здесь, чтоб контролировать ИХ работу.

Он сделал ударение на ИХ.

— Они здесь, чтоб эту работу делать. Я с удовольствием побеседовал бы с вами, как я беседовал с вашим братом. К сожалению, это невозможно. Ступайте.

Я влезла, проверила, спустилась.

— Здесь не поговоришь. А вечерами я занят, у меня другие дела. Ступайте.

Осматривая машину, я думала, что с Жилем можно поговорить в перерыве. И предложила ему, спустившись. Он покачал головой и сказал нет, Люсьен объяснит мне почему.

— Ну, не беда, — сказал он.

И пожелал мне не падать духом.

— Но делайте вашу работу как следует, — добавил он. — Я знаю, это нелегко, я против теперешнего ускоренного ритма. Существуют средства, чтоб кое-что изменить. Вы понимаете меня?

Он отошел от меня и подозвал Мюстафу. Я влезла в машину, из которой тот только что вышел. Там был Арезки. Он поглядел на меня с предельным безразличием.

На душе становилось горько, холодно, то скливо от этих обрывающихся контактов, от случайных фраз, мертворожденных симпатий. Приданы конвейеру, как инструменты. Мы всего лишь — инструменты.

Я собралась вылезти. Мюстафа меня остановил. У него был недовольный вид.

— Зря не отмечаете, если я чего не сделал. Потом мастер вас отчитает и может уволить. А мне все равно. Отмечайте! — Он сделал рукой жест, точно писал.

Арезки обернулся. Он что-то спросил, и Мюстафа, отчаянно жестикулируя, стал объяснять ему. Я оставила их.

Несмотря на усталость, я работала старательно. Но выговор Жилия жег меня. Как и Мюстафа, он считал, что я поддаюсь жалости, и оба они остались недовольны. А что делать? Быть жесткой, как Доба?

«Я должна повидать Люсьена, поговорить с ним. Я все ему расскажу. Об усталости, о шуме, отгораживающем нас друг от друга, о гря-

зи, забивающейся между пальцев, и о том, что я уже не даю себе труда ее отчистить, о стыдливости, которая сходит, как сухая кожа».

— Берегись! — закричал кто-то над ухом.

Я стремительно обернулась. Это был Доба.

— Напугал? — сказал он и расхохотался. — Ну? Вам лучше?

Он внушал мне какое-то уважение и догадывался об этом. Польщенный, он чувствовал ответственность за меня, забегал подбодрить, расспросить, не жалел драгоценных секунд, которые он мог бы потратить на перекур, на отдых. Меня пленял его парижский выговор.

— Ну, пока, — сказал он, — нельзя задерживаться. И не бойтесь. Отмечайте все.

Взглядом он искал Мюстафу.

— Семьдесят две. Еще три.

Но Мюстафы уже не было. Он за пять минут до звонка начинал готовиться к уходу. Последнюю машину я проверять не стала. Сейчас конвейер остановится, далеко она не уйдет. Мне необходимо было повидать Люсьена, и я устремилась к выходу, едва раздался звонок.

Он медленно спускался. Я схватила его за руку.

— Мне хотелось бы поговорить с тобой, Люсьен. Можно я приду вечером?

— Вечером? Нет, никак, сегодня митинг. Но ты можешь пойти с нами. Лишний человек нам не помешает. Митинг за мир в Алжире. На улице Гранж-о-Бель. Знаешь?

— Откуда я могу знать?

Он предложил мне пойти вместе с ним. Анна будет ждать у ворот Ла-Шапель.

— А кончится поздно? Завтра ведь вставать...

— Ну, так мы никогда ничего не сделаем!

— Хорошо, жди меня.

— Ладно, только ты поторопись. Найдешь меня на остановке автобуса.

Я собралась мигом. Волосы, руки, сойдет и так. Митинг — это толпа. Митинг. Слово возбуждало меня.

Усталость свернулась клубком где-то в глубине тела. Исподволь она ждала своего часа. Ноги сами несли меня, я весело бежала к автобусу.

Брат ждал меня.

— У тебя нет приятелей, девушек, которых ты могла бы взять с собой? — спросил он меня.

Вопрос показался мне идиотским.

— Понимаешь, брать нужно количеством. Но у людей пороха не хватает, времени ни у кого нет.

— Они устали, — сказала я.

Люсьен пожал плечами. В автобусе я пробиралась следом за ним, но меня протолкнули вперед, и я оказалась рядом с шофером.

Зрелище было феерическим. Мы медленно ехали по бульвару Массена, спускаясь по склону к мосту Насьональ, перед нами десятки машин, подобно кометам, оставляли за со-

бой ослепительный след. Целый сноп сплетающихся нитей, красных и желтых, озарял мост, и квадраты света пронзали многоэтажные башни, вздымавшиеся справа.

Но после ворот Доре мы выехали на равнину, феерия кончилась. Теперь Люсьен был рядом со мной. Он держался рукой за металлическую перекладину, я видела трещины на коже, следы меркурохрома; фаланги были вздуты и сморщены, рука казалась старческой. С руки я перевела взор на его лицо. Украдкой я ловила его взгляд. Глаза его блестя по-прежнему, и я внезапно подумала, слушается ли ему вспомнить о Мари, о своей жене. И если он вспоминает, то каково ему на душе.

— Здесь.

Мы вышли. Анна была на остановке. Она отметила мои волосы, подвязанные клетчатым пояском. Люсьен сказал, что нужно сесть в метро. Я шла сзади них. В многоцветном неоновом свете Анна казалась красивой, но одета была небрежно. Должно быть, денег не хватало. Стоптаные лодочки уродовали ее ноги. В них обоим было что-то разболтанное, напоминавшее битников, «граждан мира», «непротивленцев», которые вызывают у людей снисходительную улыбку. Их хотелось защитить. Но я-то знала, до какой степени они сами умеют быть безжалостными.

Люсьен насвистывал, спускаясь по лестнице метро.

— У тебя есть билетик?

У меня не было. Анна, улыбаясь, дала мне свой. Глаза у нее были желтые, нежные.

На станции Сталинград мы перешли на другую линию. Старая нищенка возилась на скамье с четырьмя битком набитыми сумками, в одной из которых были газеты. Мы наблюдали за ней. Ее голова, обмотанная несколькими платками, в конце концов склонилась к автомату, продававшему конфеты. Но тут же резко отпрянула.

Поддействовал ли на нее холод металла или она внезапно увидела себя? Но видела ли она еще себя? Видела ли она себя так, как мы ее видели?

Люсьен расхохотался.

— Картинка! — сказал он Анне. — Это ты через тридцать лет.

Анна не засмеялась. Она поглядела внимательно на старуху и согласилась:

— Да, когда-нибудь я буду такой.

Люсьен хотел пошутить. Но серьезность Анны смыла наши улыбки. Она разглядывала женщину, точно и впрямь видела свое будущее.

Пришел поезд, мы молча вошли, я даже не обратила внимания на названия станций. Я представляла себе Анну: переспит с Люсьеном, с другим, с третьим, и вдруг состарится, окажется у разбитого корыта. И общество, и сама ее натура, в которой было что-то от

недоноска, столкнут ее потихоньку обратно на то дно, откуда она поднялась. До выхода из метро никто из нас не сказал ни слова.

— Митинг по поводу гибели одного молодого парня в Алжире, — объяснил мне Люсьен. — Если бы нас набралось пятьсот...

Нас было тридцать. В ожидании, пока соберется побольше народу, несколько человек спорили о чем-то возле эстрады.

Анна присела на кончик скамьи, я подошла к ней.

— Вам уже приходилось бывать на митингах?

— Да, конечно. А вам нет?

— Брат впервые взял меня. Вы не находите, что Люсьен плохо выглядит? — сказала я, пользуясь тем, что мы были с глазу на глаз.

— Нет, я не заметила.

Она встала. Мой вопрос был ей неприятен. Она усмотрела в нем косвенный упрек, которого я в него не вкладывала. Никто меня не понимал правильно. И эта тоже видела во мне жалостливую сестру. Я позавидовала ее снисходительно-презрению к здоровью, отдыху, еде.

Один из мужчин, зажавший в руке несколько листочков бумаги, поднялся на сцену. Не было ни микрофона, ни стола, лампы светили тускло.

— Товарищи, — начал он.

Все подтянулись к сцене. Я оглядела зал. Мы занимали всего несколько рядов.

— Товарищи, на прошлой неделе семья Жана Пуансо узнала, что он убит в Алжире. Жан был рабочим у Лавалетт, он жил в этом районе. В одном из последних писем он выражал надежду вскоре вернуться во Францию. В эту тяжелую минуту профсоюзные секции Всеобщей конфедерации труда, районные партийные ячейки скорбят вместе с семьей о юной жизни, скошенной войной.

Мы захлопали.

Оратор откашлялся и продолжал более звонким голосом:

— Война в Алжире должна быть немедленно прекращена!

Все закричали и стали отчаянно аплодировать.

— Трудящиеся Десятого округа, от вашего единства в значительной мере зависит установление мира, примирение наших народов.

Что сейчас делал Мюстафа? Что подумал бы он, увидев меня здесь?

Выступили еще двое. Последний оратор, оглядев аудиторию, заговорил, не повышая голоса. Он сказал, что нас мало, но что это не должно подрывать нашего мужества; что смерть молодого рабочего взволнует трудящихся, что он погиб не напрасно, если мы объединим свои усилия в борьбе за мир.

Когда мы вышли, десяток полицейских был расставлен вдоль улицы. Думая, что нас больше, они ожидали, не выйдет ли еще кто.

Люсьен пожал несколько рук, и мы оста-

лись вчетвером во мраке набережной Жемап. Парень, присоединившийся к нам, предложил пойти выпить стаканчик. Он привел нас в тихий бар, ему этот район был хорошо знаком.

— Бутерброды?

— Да.

— Да.

Наконец-то мы поедем. До сих пор это, казалось, никого не занимало. Люсьен и его приятель яростно спорили. Нам принесли пенящееся пиво, потом хлеб.

Пиво развязало мне язык.

— Нет, вы только поглядите на нее! — вздохнул Люсьен. Он обернулся к соседу. — Ей понадобилось двадцать восемь лет, чтоб проснуться, а теперь она хочет всех опередить.

— Я настаиваю на том, что возмутительно не говорить о тех, кто больше всех страдает, — об алжирцах, о тамошнем населении и об эмигрантах, которые здесь.

— Важно поднять людей, — прервал меня парень. — Думаете, их поднимешь разговорами о страданиях алжирцев? Нужно говорить о том, что их затрагивает. Гибель этого паренька в Алжире вызовет разговоры, завтра такая же судьба ждет их самих, сына или брата. Парижане отличаются быстропроходящей чувствительностью. Можно поднять весь город на сбор помощи нищим, если нынче в моде нищие, и можно поднять его на протест против войны, несправедливости, но волна тут же спадает. И между двух волн надо дать людям возможность пожить.

Люсьен заметил, что существует опасность разжечь ненависть, породить желание мести.

— Гляньте, — сказал парень.

Он взял газету, валявшуюся на диванчике. На первой полосе рисунок в жирной рамке: силуэты мужчин, сидящих вокруг стола, спиной к ним — связанный человек с кляпом во рту под охраной двух вооруженных стражей. От каждой головы белая пунктирная линия к пояснительной надписи.

«Судья».

«Осужденный».

«Палач».

«Присяжный».

Внизу было написано крупным шрифтом: «Осужденный на смерть трибуналом ФЛН. Этот человек будет казнен на глазах у тех, кто вынес ему приговор».

Картинка произвела сильное впечатление. На второй полосе тоже можно было прочесть: «В центре Парижа в подвалах совершаются убийства».

— Тебе не кажется, что они чересчур далеко заходят в своих внутренних счетах?

— Это их дело, — сказал Люсьен. — Когда руководишь подпольным движением в самом логове врага, приходится прибегать к методам...

— Да, — согласился наш сотрапезник. — Революция не делается в белых перчатках; но все население настроено к ним враждебно.

От пива усталость проснулась и растеклась по всему телу, до самых кончиков пальцев. Люсьен хотел заплакать, тот не давал ему. Наконец мы поднялись, он проводил нас до метро. У нас с Люсьеном закрывались глаза, хотелось спать. Брат спросил меня, приноровилась ли я к конвейеру, выдержу ли.

— Кстати, — сказала я, — не объяснишь ли ты мне, что означали слова Жилия.

Я передала ему наш разговор.

— Почему он не хочет побеседовать с тобой во время обеденного перерыва, на заводе или вне его? Проще простого. Если вас увидят вдвоем, все скажут, что он за тобой бегаёт, или что ты бегаешь за ним. Это ему неудобно, да и тебе тоже.

— Здесь? В Париже? Рабочие так подумают?

— Да, а ты как полагаешь?

Мы шли быстро. Ложился туман.

— Ну вот ты дома.

Мне оставалось пробежать еще сто метров. Я быстро легла. Приближалась полночь. В пять прозвонит будильник.

Я толкнула дверь цеха. Кто-то меня окликнул. Я обернулась. Наладчик затапывал недокуренную сигарету. С ним был рабочий, которого я несколько раз видела проходившим по цеху.

— Привет, — сказал он мне. — Вы новенькая?

— Она здесь уже, по крайней мере, две недели, — заметил наладчик.

— Одиннадцатый день, — сказала я.

— Я профорг.

— Очень рада.

Я улыбнулась ему.

— Напишите мне ваше имя, завтра я передам для вас билет и марку.

— Платить нужно сразу?

Он засмеялся.

— В получку, если вам удобнее. Вы откуда к нам?

— Из провинции.

Рабочие входили. Мы шли по цеху. Я упомянула о брате. Он сказал, что знает его, что это твердый орешек.

Доба, проходя мимо, дружески похлопал меня по плечу.

— Здравствуйте, барышня... Мой вам совет: вы так милы, серьезны, вас ни в чем не упрекнешь, не попадайтесь в лапы к профсоюзу. И не слишком разговаривайте с алжирцами. Желаю успеха.

Заработали моторы, и гигантский механический змей принялся пожирать нас. Я влезла в машину. Арезки, товарищ Мюстафы, уже закреплял болты. Он обернулся ко мне.

— Я поставил зеркало в предыдущей ма-

шине. Если вы проверяли ее вчера вечером, то его там не было.

— Точно. Спасибо.

Арезки работал стремительно, время от времени останавливаясь. Все утро он искал глазами Мюстафу. Я тоже беспокоилась, мне вспомнился рисунок в газете. Не прикончили ли его в подвале? Или он сам там приканчивал других?

Я оглядывала по очереди всех мужчин, работавших рядом. У Арезки лицо было серьезное, он почти не раскрывал рта.

Наконец появился Мюстафа. Он не разделся. На нем было пальто в крупную черно-белую елочку.

— Здравствуйте, — громко крикнул он.

Арезки, казалось, был недоволен.

Подошел бригадир.

— Ну, ты что здесь делаешь? Что с тобой стряслось?

— Я проспал! — крикнул тот.

— Бегом в раздевалку. Это тебе так не пройдет. Марш...

— Потише, — сказал Мюстафа.

Держась с большим достоинством, он спустился и направился к станкам.

Бернье скрепя сердце принялся приколачивать реборды. Белые халаты прохаживались по цеху, могли нагряться в любую минуту.

Мюстафа вернулся, и Бернье протянул ему его молоток.

— Держи. Твой ящик в машине. Но премия твоя улыбнулась.

— О, — сказал Мюстафа пренебрежительно, — нужна она мне.

На нем был толстый свитер, синий с белым; я никогда не видела его в спецовке или в комбинезоне. Алжирцы на конвейере как правило работали в пиджаках из твида и замасленных джинсах. На Арезки была черная футболка с засученными рукавами.

Мюстафа принялся приколачивать уплотнители, потом остановился и предупредил меня:

— Внимание, здесь хроно.

— Хроно? Это еще что?

Он пожал плечами; я перешла к следующей машине, не дожидаясь ответа. Он приблизился своей ленивой походочкой, оттолкнул маленького марокканца, ударил несколько раз молотком и остановился.

— Что с вашими волосами? Вы опять подобрали их? Вы не знаете, кто такой хроно? Это — хроно. Нужно работать не торопясь.

Он показал как, но в это время Бернье попросил, чтоб я пошла за ним.

— Взгляните, что вы пропустили.

Машина, на которую он мне указал, шла далеко впереди, она была уже в секторе, где устанавливали замки. Бернье взобрался в нее, присел и показал на широкий разрыв в пластике на уровне левой реборды.

Я извинилась.

— Будьте внимательны. Если это попадет на глаза Жилью или начальнику цеха...

Его мордочка щенка-пустолайки совершенно не соответствовала серьезности тона.

— Возвращайтесь быстро на свое место, а то он ускользнет у вас из-под носа. Я имею в виду брак.

Мюстафа подстерегал меня. Он спросил, что случилось.

— А, глупость...

— Это в моей работе?

— Да.

Он отвернулся и, казалось, задумался.

— Погодите, — закричал он.

Он ухватил меня за руку и, тыча пальцем, морща лоб от умственного напряжения, серьезно объяснил:

— Я сейчас делаю четвертую машину. Он вас водил к замкам? Ну так вот, — закричал он в восторге, — эту машину делал он сам.

Он потирал руки от удовольствия. Мне это было неприятно. Мюстафа огорченно покачал головой.

— Вы боитесь шефа?

Да, я боялась.

До полудня мы работали, не разговаривая. Время от времени я прислонялась к стене и на несколько секунд закрывала глаза. И как только Люсьен выдерживает?

Я осталась в раздевалке, дремля на скамье. Вошла женщина, сказала, что уже без двадцати два. Я надела пальто и спустилась. Кофе подбодрит меня. Когда не гудели моторы и люди выходили, мне нравилось бродить по огромному цеху и разглядывать спящие машины.

У двери несколько мужчин встретили меня восторгом. Я начала уже привыкать к этому. Люсьен тоже стоял там, разговаривал с ними. При ярком дневном свете лицо его было серым. Я кивнула ему. Он подошел.

— Ты куда?

— Выпить кофе.

— Бернье, говорят, цеплялся к тебе сегодня.

— Кто тебе сказал?

— Паренек, который с тобой работает.

— Мюстафа?

— Да.

— Я здесь уже пять месяцев, — заговорил снова Люсьен. — Я был и на твоём участке, и на других. И раскусил систему. Уедешь ты или останешься, тебе полезно выслушать то, что я скажу. Не будь покорной. Здесь покорность — признание вины. Начальство любит лаяться. Не отнимай у них этого удовольствия. Не старайся через меру. Делай свое дело как исправный инструмент, ты ведь и есть инструмент. Никогда не стремись понять, что ты делаешь. Ты здесь не для того, чтоб понимать, а для того, чтоб делать определенные движе-

ния. Войдешь в ритм, превратишься в налаженный механизм, который не видит дальше конца конвейера. Тебя сочтут хорошей работницей и прибавят три франка в час.

— Я не намерена оставаться, — сказала я, задрвав голову.

Мы были на бульваре Массена, я искала глазами на третьем этаже окна цеха.

— Уже без десяти. Поторопимся.

Мы молча проглотили кофе. Люсьен заплатил. Выходя, он спросил:

— У тебя есть письма?

— На прошлой неделе было.

— Никогда не давай моего адреса. Пора. Пошли быстрее.

Я услышала звонок, подходя к лестнице.

Конвейер — гигантский удав, разворачивающий кольца вдоль стен. Огромная пасть извергает кузова из красильного цеха, сушилки, расположенной этажом выше, откуда лифт выбрасывает семь машин в час. Спустившись, машина одевается пластиком и, медленно двигаясь по своей трассе, постепенно обретает сначала фары, потом реборды, зеркало, противосолнечный щиток, панель приборов, щит, стекла, сиденья, дверцы, замки.

Жиль увидел меня, когда я проходила перед кабинетом начальства. Я тоже заметила его. Наши взгляды встретились. Он был доволен, что я опаздываю. Я взялась за свою планку, карандаш, проверку.

Мюстафа просунул голову в дырку заднего окна.

— Хроно, хроно, внимание!

Подошел хроно. Это был человек в сером халате, начальник цеха держался рядом, по своему обыкновению не снимая с головы шляпы. У хронометриста была толстая тетрадь, два карандаша и, разумеется, огромный хронометр на раскрытой ладони.

Он встал рядом со мной и стал следить за моей работой. Я старалась двигаться медленно, но помимо моей воли мои движения были быстрыми, выдрессированные пальцы шли прямо к цели. Я затила осмотр панели приборов. Пыталась потерять секунды. Чистая наивность. Хроно догадывался, хроно смотрел не на то, сколько минут нужно для той или иной операции, он определял время, отпущенное на каждый жест рабочего. Его появление было знаком надвигающихся перемен. Он прятал свои часы, когда подошел Мюстафа:

— Мосье, будьте любезны, не знаете ли вы, который час?

Хроно поджал губы и удалился, не отвечая.

Назавтра Жиль явился, чтоб сообщить нам новый распорядок. Мне добавили проверку передних фар и задних позиционных фонарей. Мадьяр должен был закреплять их, Арезки устанавливать рычаги отопления.

— Это чересчур много, — сказал Жиль. —

Я обратил их внимание. Но я протестовал один. У вас скоро будут товарки. С пятнадцатого на проверке будут работать четыре женщины. Одна здесь, другие — ниже. А ваш брат поднимается в красильный.

— Люсьен? Почему?

— Шеф, — сказал подошедший Мюстафа, — а я? Мне что подкинули?

— Тебе ничего, — засмеялся Жиль. — Делай хорошо то, что делаешь.

Арезки помрачнел. Он прицепился к Жилью, и они долго спорили. Машины проходили. Я отметила: «Не хватает зеркала».

— Ну и пусть, — сказал Арезки, возобновляя работу, — премия накрылась.

На четырнадцатый день была получка. Бернье принес конверты. Каждый прекращал работу на несколько секунд, чтоб проверить сумму. Некоторые обращались к Бернье с протестами. Он отсылал их к начальнику цеха.

Почему я не ушла тогда. Я не решалась потребовать у Люсьена долг. А от полочки, если вычесть стоимость билета, оставалось только на несколько дней пропитания. В письмах к бабушке я говорила об экономии, заработках, приемнике... Ладно, поработаю еще две недели. Может, за это время Люсьен отдаст мне что-нибудь. Буду экономить...

В ожидании автобуса я думала обо всем этом. Получка, засунутая на дно сумки, меня разочаровала. Столько усилий, так мало денег. Я выбралась из очереди и пошла по бульвару к площади Италии. Из такси вылезла женщина. Я подбежала к машине и рухнула на сиденье.

Огненные снопы моста Насьональ, заводские трубы, преобразенные заревом горизонта, Париж, открывающийся из пригорода, пожарные литейных заводов и гигантские цистерны, вспарывающие ночное небо, низкое, бархатистое, точно подвешенное на уровне фонарей. И всем этим я наслаждалась, сидя в такси, развалившись, мечтая, чтоб машина двигалась как можно медленней, чтоб уличные пробки продлили этот праздник.

Вечером я разделась и помылась с ног до головы, надела ночную рубашку, шерстяную кофточку и устроилась на кровати. Я ощутила полное блаженство. Сурово подсчитала свои ресурсы. Это — на еду, это — за комнату. Пять тысяч франков я спрятала, положив начало сбережениям.

По утрам от шума и усталости у меня часто мучительно болела голова. Я купила аспирин и взяла за привычку часов в девять, когда затылок наливался тяжестью, проглатывать таблетку. Я купила также флакончик лаванды и время от времени вдыхала ее. Я сложила все это в картонную коробку, написала: «Э. Летелье» и спрятала ее в уголок.

Однажды утром Арезки отложил свои ин-

струменты и направился к пюпитру Бернье. Немного погодя он вернулся и продолжал закреплять болты, но лицо у него перекошилось. Мы никогда с ним не разговаривали. Мюстафа подошел ко мне и сказал:

— Он болен, не может работать.

— Пусть попросит разрешения выйти, пойдет в медпункт.

— Шеф не пустил.

— Что у вас болит? — обратилась я к самому Арезки.

— Голова. Я не вижу зеркал.

Я бросила машину и стала искать Бернье. Он как раз направлялся к нам.

— Мосье, — сказала я, — тут один рабочий заболел. Он не может работать.

— Кто? — спросил он с жизнерадостной улыбкой.

— Тот, который ставит зеркала. Арезки.

— Ну и что? — спросил он весело.

— Ему бы надо пойти в медпункт.

— Конечно, все они хотят в медпункт. Раньше они просились в туалет. Не волнуйтесь за него, мадемуазель.

Он похлопал меня по руке.

— Я больше не даю талонов на выход. Так приказано. За исключением несчастных случаев или уж если кто-нибудь грохнется на пол. Остальные — симулянты, жулики. Знаю я их.

— Но это бесчеловечно.

— Потихе, потихе, мадемуазель Летелье, — сказал он, теряя улыбку. — Отправляйтесь на свое место, и пусть это вас не волнует.

Я вернулась на конвейер разозленная, наскоро проверила две машины и пошла искать Арезки. Он медленно прикручивал рычаги, а Мюстафа ставил вместо него зеркала.

— Вы все еще плохо себя чувствуете?

Мюстафа ответил утвердительно.

— Хотите таблетку? — прокричала я.

Арезки поднял голову.

— У вас есть?

Я принесла ему две таблетки.

— У тунисцев есть молоко, — сказал Мюстафа. — Пойди...

Арезки взял таблетки и вылез из машины. Мюстафа закрепил свою реборду всего в нескольких метрах и побежал к следующей машине, прикрутил зеркало, рычаги, кинулся к другой, стоявшей выше по конвейеру, чтоб приколотить уплотнитель.

Я проверяла панель приборов, когда Арезки, наклонясь ко мне, сказал спасибо.

— Полегчало?

— Нет, но скоро пройдет.

Попозже он подошел сказать мне, что стало лучше. В полдень он принес мне тампон, смоченный в бензине, чтоб вытереть пальцы. Я поблагодарила его, тронутая. Мы пожелали друг другу «приятного аппетита» и в конце дня — «всего доброго, до завтра».

У него было красивое суровое лицо, я перед ним робела. Он казался не таким молодым, как все остальные.

На следующее утро я нашла в своей коробочке рожок, завернутый в папиросную бумагу. Я позвала Мюстафу.

— Это ваш?

Он покачал головой и, так как я не поняла, сказал:

— Арезки положил для вас.

Арезки, по обыкновению, опережал меня. Когда мы встретились, я спросила его, как раньше Мюстафу:

— Это ваш?

— Нет, ваш.

Подойдя к Мюстафе сказал мне:

— Это за вчерашние таблетки.

— За таблетки? Возьмите его обратно.

— За дружбу, — сказал Арезки, глядя на меня.

Я разделила рожок на три части и протянула по куску каждому из них.

— Спасибо, — сказал Арезки, — я не ем по утрам.

— А я ем, — сказал Мюстафа.

Его хищный взгляд рассмешил нас. Как раз в этот момент Жиль просунул голову в заднее окошко. Он удивленно поглядел на меня. Я смешалась, подобрала свою планку и быстро встала. Но он уже ушел. Арезки заметил мое смущение.

Через несколько минут Мюстафа обратился ко мне:

— Мадемуазель Лиз, нет ли у вас еще таблетки? У него тоже болит голова.

Это был Мадьяр. Говорить они не могли, но объяснялись жестами, понятными только для них двоих.

На следующий день я опять нашла в своей коробочке рожок. Мюстафа, следивший за мной, поощрительно сказал:

— Ешьте, ешьте.

— Это опять?..

— Да, — сказал он.

Вылезая из машины, я столкнулась с Арезки.

— Послушайте... — начала я.

Но он, улыбаясь, покачал головой и не остановился.

Немного погодя я опять встретилась с ним. Он обсуждал что-то с Мюстафой. Они говорили по-арабски, но мне показалось, что разговор идет обо мне.

Ближе к вечеру, когда я проверяла фары, я встретилась взглядом с Арезки, сидевшим на корточках внутри машины. Смутьившись, мы стали избегать друг друга, но ритм конвейера нас поневоле соединял.

Иногда по вечерам передо мной возникало лицо Арезки, это доставляло мне такую радость, что я часто думала о нем.

Мы не говорили друг с другом о себе. Предлогом для всех наших бесед был Мюстафа. Из робости мы предпочитали такой способ общения. Мюстафа совершал и говорил столько глупостей, что недостатка в сюжетах мы не испытывали. Да и много ли скажешь в гуле, когда приходится кричать, непрерывно перескакивая из машины в машину?

Каждое утро я находила в моей коробочке какое-нибудь лакомство. Я не отказывалась, думая о радости, которую испытывал Арезки, когда покупал и клал свой подарок.

Я делилась с Мюстафой, нетерпеливо ожидая эту минуту.

Однажды явился Доба и обвинил Мюстафу в том, что, плохо прибывая свои реборды, он рвет пластик на потолке машины. Мюстафа возражал, кричал, потом схватил Доба за воротник куртки. Тогда Арезки выскочил из машины, оттянул Мюстафу от Доба. Арезки был явно недоволен. Он что-то говорил Мюстафе, угрожающе жестикулируя.

— Он обозвал меня ратонем!

— Ну и что? — спросил Арезки. — Ты не можешь слышать этого? А твои отец и мать, что приходится им выслушивать дома?

Я вмешалась, сказала, что рабочий-расист, обзывающий другого ратонем, — это позор.

Арезки засмеялся и покачал головой.

— Если ты этого не можешь вынести, — сказал он Мюстафе, — как ты вынесешь все остальное?

— Скажем профоргу, — предложила я.

Мюстафа сделал неприличный жест. Но мы уже потеряли слишком много времени и все принялись за работу.

— Снег пойдет, — сказал Мюстафа.

Он склонился к Мадьяру.

— Снег!

Тот поднял голову в мелких кольцах густых светлых волос. На прыщавом красном лице была написана бедность, одиночество. Должно быть, его радует, когда Мюстафа с ним заговаривает.

Я влезла в машину, из которой выходил Арезки. Глядя в сторону, он бросил:

— Сегодня мой день рождения.

На несколько секунд я замерла от удивления, потом возобновила проверку. Мышцы, отказывавшиеся работать вначале, теперь подчинялись мне, но стоило непредусмотренному движению вклинить в механическую последовательность, скрежетали, как старая лебедка. Хороший рабочий контролирует каждый жест и не делает ни одного бесполезного. Ритм не допускает болтовни, и если хочешь перекинуться несколькими словами, приходится одно движение ускорить, другое пропустить. Это удастся, однако, ценой потери темпа. Человек бросает тебе, вылезая из машины, «сегодня мой день рождения», и ты за-

бываешь о панели приборов, потом настаиваешь именинника в следующей машине и кричишь сквозь грохот молотов: «Поздравляю». Арезки поблагодарил меня улыбкой. В этот момент раздалось улюлюканье, столь громкое, что оно покрыло гул моторов. Мы все замерли. Марокканец, Мадьяр и Мюстафа соскочили в проход. Арезки обернулся ко мне:

— Женщины.

По цеху шел Жиль в сопровождении четырех девушек. С конвейера несли вопль. Мюстафа жестикулировал, кричал, Арезки, смеясь, показал мне на него.

Когда группа прошла, все возобновили работу, но Мюстафа, в крайнем возбуждении, бежал взад-вперед, влезал, вылезал, наконец машина увезла его.

Через минуту он вернулся и бросился к Мадьяру.

— Красивая женщина, — сказал он.

Его, казалось, не трогало, что он отстал. Мюстафа схватил Арезки за руку.

— Тут женщина, вот тут. Проверяет замки. Он восхищенно присвистнул.

— Прекрасно, — равнодушно сказал Арезки.

Мне его ответ доставил удовольствие. Энтузиазмом Мюстафы я была несколько раздосадована.

В обеденный перерыв новенькие осваивали свои шкафы. Потом вышли пообедать. Остались только те, кто имел обыкновение перекусывать в раздевалке.

— Они ставят женщин на конвейер.

— Это не трудней остального.

— Молоденькие.

— Подожди, увидишь, как они будут выглядывать через несколько недель.

— Поработают наверху, вместе с алжирцами.

— Они собираются поставить женщин всюду, кроме красильного цеха.

Люсьен работал уже четыре дня в красильном. Я его с тех пор не видела. Я быстро поела и вышла в надежде его встретить. Никого не было. Холодный туман прогнал всех с улицы. Может, он в кафе?

Без десяти два я медленно направилась к цеху. Внимание, к счастью, было приковано к новеньким. Я увидела Люсьена. Он болтал с одной из девушек, которая поднималась по лестнице, держась за перила.

Я окликнула его, он живо обернулся.

— Я хотела повидать тебя, узнать, как твои дела. Тебя, говорят, перевели наверх.

— Дела идут, — вяло сказал он.

— Люсьен!

— Ну что еще?

— Когда я могу с тобой повидаться?

Казалось, он был раздосадован.

— Приходи в четверг вечером, — вздохнул он. — Анри должен мне кое-что принести.

Я добралась до своего участка. Мадьяр заты-

гивал потуже ремень. Арезки был уже на месте. Четыре женщины прошли, держась под руки. Самая молодая была очень красива. Она напомнила мне Мари-Луизу. За ними следовал Мюстафа, сделавший себе великолепную прическу.

Во второй половине дня Арезки несколько раз сердился, потому что Мюстафа мешал нам всем работать, шныряя туда-сюда.

— Поскольку сегодня мой день рождения, не пойдете ли вы вечером куда-нибудь со мной?

Я ничего не ответила. Он не отходил. Мадьяр извинился, что потревожил нас. Мы заметили, что стоим неподвижно на конвейере, и проскользнули вперед.

Три голоса спорили во мне. «Наконец-то», — говорил один. Другой возражал: «Как это? И где? А если люди...» А третий шептал: «Нет», — но то не был отказ. «Нет» выражало сомнение в том, что действительно случилось долгожданное, о чем мечталось годами. Сквозанный предчувствием, этот голос говорил: «Погоди...»

— Ну? — спросил Арезки, обращаясь к Мюстафе, который прихрамывал.

— Ух, хороша, хороша. Но не подъедешь.

— Брось, — сухо сказал Арезки. — Француженки не водятся со всякими бико¹.

Я приняла эти слова как вызов и, отвечая на него, спросила немного погодя:

— И сколько же вам исполняется?

— Тридцать один.

— Где ждать вас?

Он просиял. Спросил, какой дорогой я иду с завода, в каком районе живу. Но, не договорив, принялся работать, так как приближался Жиль. Он шел быстро, полы халата летели за ним.

Опускалась ночь, окна стали темными. Маленький марокканец опустил свой молоток и испустил «уф», потирая запястье. Арезки подошел ко мне, сделал знак, чтоб я слушала.

— Вы садитесь в автобус на углу? Там встретимся. Я влечу следом за вами, мы выйдем где-нибудь по дороге.

Я, наверно, продолжала проверять и после звонка. Какой-то рабочий, проходивший мимо, окликнул меня:

— Эй, вы, там, конец!..

В раздевалке была толкучка. Женщины приводили себя в порядок, громко разговаривая. Мимолетная радость, переменка. Внизу их уже ждало метро, дом, снова отчуждение, только в иной форме.

Я высматривала Арезки. Он еще не пришел. Я встала в очередь. Конец душевному покою. Теперь во мне бушевала буря, о которой я так долго мечтала. Неожиданно Арезки оказался рядом. Его вид удивил меня. На нем был темный костюм, белая рубашка, ни пальто,

¹ Презрительная кличка алжирцев.

ни какой-либо другой теплой одежды. Он молча встал позади, сообщив мне подмигнув. Мимо нас прошел Лакдар, высокий алжирец, работавший на конвейере. Он окликнул Арезки.

— Ты куда это?

— Надо кое-что купить.

Наконец мы вошли в автобус, на площадке нас прижало друг к другу. Арезки не смотрел на меня. У Венсенских ворот нам удалось пройти вперед.

— Мы сойдем у ворот Лида, хорошо? Вы любите ходить?

— Прекрасно, — сказала я.

Мне становилось все более неловко, и молчание Арезки усугубляло мою скованность. Я прочла от первой до последней буквы «Правила», вывешенные автобусной компанией как раз над моей головой.

Арезки кивнул. Мы вышли. Я никогда здесь не была и сказала об этом Арезки, — все-таки тема для разговора. Перейдя площадку, мы вошли в кафе «А ла шоп де лида». Буквы на вывеске были ядовито-зелеными. У стойки толпилось много мужчин. Некоторые рассматривали нас. Столики были заняты. «Идите сюда», — сказал Арезки, мы протиснулись в левый угол, где оставалось несколько свободных стульев. Арезки сел напротив меня. Соседи устали на нас без всякого стеснения. Я увидела себя в зеркале на колонне, посиневшую, растрепанную. Я подняла воротник пальто и в тот момент, когда я делала это, вдруг поняла, чем удивляю: я была с алжирцем. Понадобился чужой взгляд, выражение лица официанта, бравшего у нас заказ, чтоб я отдала себе в этом отчет. Меня охватило смутение, но Арезки глядел на меня, и я покраснела, боясь, как бы он этого не заметил.

— Что вы будете пить?

— То же, что и вы, — по-идиотски ответила я.

— Горячего чаю?

Арезки тоже чувствовал себя стесненно. Перед тем как выпить чай, я повторила дважды: «С днем рождения!»

Странно улыбнувшись, он стал меня спрашивать. Я рассказала ему о нашей жизни с бабушкой, о Люсьене.

— Я думал, вы моложе его.

— Потому что я маленькая? Нет, мне двадцать восемь лет.

Он поглядел на меня с удивлением.

— Вы очень любите брата...

— Да, — сказала я.

И спросила его, есть ли у него братья, мать. У него было три брата, сестра, мать была еще жива. Он описал мне ее — пожелтевшую, как сухой лист, разбитую, как палый плод, почти ослепшую. Я подумала о бабушке.

Чтоб отвлечься, мы заговорили о Мюстафе.

— Походим немного? — спросил он.

Мы вышли. Бульвар Серюрье. Успокоительный мрак. Никто нас не видит. Озябшие люди торопятся домой.

Говорила я одна. Арезки слушал, соглашался, шагал, глядя перед собой. Несколько раз спросил, не устала ли я. Я искала, что может его заинтересовать. Рассказала о собрании на улице Гранж-о-Бель.

— Если вы станете ходить по митингам, — сказал он, — вы наживете себе неприятности.

Я прервала его. Рассказала об Анри, о Люсьене, об Индокитае, я сплетала мечты и реальность. Я не умолкала ни на минуту. Мы дошли до ворот Пантен. Он взглянул на часы.

— Вы не боитесь возвращаться одна? Восемь часов.

— Нет, конечно.

— Я вынужден вас здесь покинуть. Но я подожду, пока придет ваш автобус.

— А вы как поедете?

— Метро.

— У вас не бывает по вечерам неприятностей из-за полицейских проверок?

— Случается, — сказал он.

Мы подождали на остановке. Арезки, наверно, продрог. Он держался натянуто, руки в карманах, отсутствующий взгляд.

Когда подошел автобус, он вынул руку из кармана, протянул мне.

— Спасибо, — сказал он. — Вы очень любезны. До завтра.

Я вернулась усталая, голодная, недовольная.

На следующий день Арезки вел себя со мной как обычно. Я досадовала, что он не выказывает мне никаких знаков дружбы. Может, он разочаровался во мне? Однако я была рада, что в тот вечер никто не видел нас вместе.

В раздевалке я наблюдала за новенькими. В первый день они работали в сандалиях и бесцветных халатах. Но соседство мужчин возбуждало их кокетство. Одна принесла розовый халат, другая стала подбирать волосы блестящими заколками, третья надела туфли без задников, расшитые цветами.

Они приходили утром, намазанные, причесанные, и умудрялись в течение рабочего дня выкроить время, чтоб уединиться и подкраситься. Что-то в этом было большее, чем просто кокетство: самозащита, инстинктивное сопротивление, чтоб не опуститься на дно. Яркий лак чаще всего покрывал грязные ногти; бархотки пестрели в жирных волосах; пудра скрывала серый пот, выступавший на коже. Вижу, как сейчас, мою соседку по раздевалке, женщину лет тридцати пяти, некрасивую, морщинистую, вынужденную, согласно распорядку, носить выцветшую холщовую спецовку, но сохранившую и за рулем кары свои лодочки.

В этой вольере я чувствовала себя совершенно изолированной. Тем не менее я не из-

бегла заразы и из первой полочки, из первых сэкономленных денег потратилась на покупку рабочего халата. Я выбрала голубой с белым кантиком, едва дошедший до икр.

Только в четверг утром я вспомнила о приглашении брата. Хороший признак. Заноза, которая вынимается, не повредив кожу.

Но в меня вонзилась другая. Арезки точно избегал меня. Дни казались нескончаемыми и тягостными.

Я пришла к Люсьену в восемь. Анри был уже здесь, он крепко пожал мне руку. Анна предложила кофе. Люсьен проворчал: «Добрый вечер». На столе лежали книги, принесенные Анри. Они с братом увлеченно обсуждали положение, не соглашаясь друг с другом. Анри пытался доказать Люсьену, что он сам себе противоречит, а Люсьен упрямо стоял на своем, замыкаясь во враждебном молчании. Анна, сидя на краю постели, гладила свои волосы, поглядывая то на одного, то на другого. Я дремала, сожалея о своих маленьких эгоистических радостях, о вечерних минутах покоя.

— Ты настаиваешь, — с силой говорил Анри, — что рабочим в высшей степени наплевать на войну в Алжире. А я тебе говорю, что это результат отсутствия информации. Если бы они знали что...

— Чего ж ты смеешься над плакатами, надписями, над теми, кто этим занимается?

— Потому что ты, именно ты, можешь делать другое. Ты владеешь пером, ты свидетель. Шесть месяцев, — отчеканил Анри, — шесть месяцев ты на заводе. Рабочий класс — это для нас глубины океана, двадцать тысяч лье под водой. Другой мир. Пойди пойми, что там происходит. Положиться на партию? Она демобилизует массы своими бюллетенями о здоровье: все хорошо, рабочие бдительны, партия завоевала еще столько-то голосов и т. д. Почему ты не расскажешь о том, что видишь, о том, что слышишь? Почему не опишешь отношения между французами и алжирцами на уровне пролетариата? Ты собирался это сделать и ты обязан это сделать. Наклеить плакат ночью...

— Перестань говорить о моих плакатах... — проворчал Люсьен.

На несколько минут они замолкли. Анна всунула ноги в тапочки и пошла налить нам кофе.

То, что говорил Анри, мне показалось разумным. Тяжеловесность его облика, спокойный низкий голос придавали его аргументам еще большую весомость. Но меня стесняла его способность всегда извлекать удовольствие из событий, драм или конфликтов. Он не переставал наблюдать, даже подсматривать, возбуждаясь зрелищем. Его психологическая утонченность, его изощренный интеллект упивались Люсьеном.

Брат жадно глотал кофе, Анна два раза подливала ему. Допив, он закурил сигарету и склонился ко мне.

— Элиза, скажи-ка ты Анри, что ты обо всем этом думаешь.

— Но я...

— Да, ты, ты совсем не дура. У тебя наверняка есть что сказать.

Я стала говорить, неловко подбирая слова. Люсьен прервал меня.

— Видишь, Анри, из нас с сестрой хорошие адвокаты не получились. Ты только что упрекнул меня. Да, шесть месяцев тому назад, когда я пошел на завод, — больше по необходимости, чем по свободному выбору, — я приходил в восторг от перспектив, открывающихся передо мной. Свидетельствовать, как ты выражаешься. Так вот, старик, сейчас я от этой идеи отказался. Не могу. Здесь порочный круг! Целый день я как камера, фиксирующая образы. Вечером я — конченный человек. Все остается во мне. Но чтоб выжить, я должен работать. Остальное я откладываю. И каждый день тупею, тупею. Знаешь, куда они меня перевели? В красильный. Даже объяснять не хочется. Чтоб отбить у меня охоту, чтоб я ушел. Говорят, я подрываю мораль рабочих, я смутьян. Даже профорг против меня. Он считает, что меня заносит. Но я не уйду. Однако, когда я возвращаюсь вечером, я литрами хлебаю воду, ем и ложусь. Интеллектуальное усилие? Невозможно. За шесть месяцев я здорово деградировал. Я тебе, Анри, скажу больше: если бы я не работал бок о бок с кружью¹ и неграми, если бы я не общался с ними ежедневно, я бы уже забыл о них. Я требовал бы прибавки трех франков в час, или сокращения рабочего дня на полчаса, или пятиминутного перерыва на отдых каждый час. Но они — тут, рядом, и как меня ни эксплуатируют, как ни жмут из меня сок, я по сравнению с ними — привилегированный. Они — дешевое горючее, неисчерпаемый резерв. Нас, наверно, на весь завод трое, четверо, — тех, кто видит у них человеческие лица. Ты, вероятно, прав — наклеивать плакаты, мазать стены, раздавать листовки — линия наименьшего сопротивления. Но кто пишет эти плакаты, кто вдохновляет эти листовки?

— Ты не настоящий революционер, — сказал Анри. — Ты бунтарь, я уже говорил тебе. Ты губишь себя. Нас не так много, мы нуждаемся в таких, как ты. Надо же что-то делать, как-то противодействовать в создавшейся ситуации.

— Нехорошо все оборачивается, — прошептал Люсьен. — Люди боятся. Это сведение внутренних счетов, эти суды... Вот люди и становятся на сторону сильного.

Анри проводил меня. Он оставил свою машину в тупике, за собором.

¹ Презрительная кличка алжирцев.

— А как вы, Элиза, — спросил он, — привьетесь?

Я сказала, что нет, скоро уеду, не знаю точно когда, но, наверно, перед рождеством.

— Используйте привязанность к вам Люсьена, убедите его бросить завод. Он дошел до точки.

— Его привязанность? — сказала я скептически.

— Ему надо отдохнуть некоторое время, подыскать себе другой заработок.

— У него нет для этого средств.

— Ну, — запротестовал Анри, — несколько дней, подумаешь, дело. Две, три недели он может выдержать, не работая. А больничный лист?

Я не ответила. К чему. Нас разделял целый океан. Выражение «нет денег» имело для него совершенно иной смысл. Для него это означало лишиться кино, в худшем случае, — бензина для машины. Для нас это был хлеб насущный, мы были одни, нас никто не поддерживал. Останься Люсьен без работы на три недели, на два месяца — и мы погибли. Мы уже не жили у бабушки. «Десять тысяч франков всегда найдутся», — говорил Анри. Мы находили их только в день полочки в платежной ведомости.

— Бедняга Люсьен. Долгие годы он бездельничал...

— Посылает ли он деньги дочери? — внезапно спросил Анри.

В смущении я ответила, что не знаю.

— Но Анна могла бы работать, — сказала я.

Анри покачал головой.

— Я высажу вас здесь.

— Да, хорошо.

— Он не хочет, чтоб Анна работала. Сейчас, во всяком случае. Знаете ли вы, что она явилась ко мне в один прекрасный вечер. В мае, должно быть. Люсьен уже жил в Париже месяца полтора-два. Она вспомнила мой адрес. Как она добралась сюда, откуда взяла деньги? Она была так возбуждена, что я испугался. Требовала, чтоб я сообщил Люсьену о ее смерти. Оставила мне для него письмо и ушла. Мы искали ее. Люсьен обезумел. От страха и от нездоровой радости, — ему льстил поступок Анны. Она покончила с собой из-за него. Пожертвовала своей жизнью. С помощью одного приятеля мы нашли ее в больнице. Никто еще не умирал, обожравшись аспирином. Ей все же пришлось полежать. Это сообщило ей в его глазах некое дополнительное измерение. Они очень далеки от нас, вам не кажется.

— Да, — сказала я, глядя на голубую в ночном свете дверь Дома Женщины.

Эти заполярные области были чужды мне. Они заставляли меня сожалеть об успокоительной посредственности Мари-Луизы. Я боялась Анны.

— Мадемуазель Летелье, вы не заметили, что все позиционные огни поставлены косо?

Жиль тихонько подтолкнул меня в сторону, и, когда машина поравнялась с нами, стал смотреть, как работает Мадьяр.

— Видите?

Он наклонился к нему.

— Не так, — сказал он, — вот как.

И, присев, он показал.

— Понятно? — спросил Жиль.

Мадьяр сделал знак, что не знает этого слова. Жиль вернул ему отвертку.

— Ступайте, — прокричал он мне, — а то пропустите.

Я вернулась в машину. Жиль последовал за мной, присел сзади.

— Мало времени, да? Не хватает, чтоб проверить снаружи?

— Да, мосье, времени мало.

— Хорошо, — сказал он, — пропускайте все задние огни. Не проверяйте их.

Высокий наладчик появился в прямоугольнике дверцы.

— В чем дело, мосье Жиль?

— В твоих потолках. Недостаточно натянуты, вот уже два дня, как контроль сигнализирует.

— Да?

Он провел рукой по материи, появились складки.

— Действительно. Но пусть поглядят, кого мне дали на сборку! — вдруг взорвался он. — Ратоны, одни только ратоны. Ни хрена не смыслят в работе и вдобавок ленивы...

— Послушай, — обрезал Жиль, — а ты уверен, что им толком объяснили, как делать?

— Еще бы! Я сам им объяснял.

— Я все же поговорю с ними.

Наладчик спустился.

— Он расист, да? — спросила я у Жили.

Тот сделал вид, что не слышал вопроса.

— Я предпочел бы видеть вас в конторе, — сказал он. — В январе, после праздников я этим займусь.

Я ничего не сказала, но подумала: «После праздников меня здесь не будет».

Ко мне приближался Арезки. Я постаралась уклониться от встречи, но он протянул мне комок ваты, пропитанный бензином, и я его поблагодарила.

— Увидимся сегодня вечером? Около автобуса, как в тот раз. Походим немного.

Он наклонился и сказал мне на ухо:

— Мне нужно поговорить с вами.

На нас смотрел наладчик. Он вместе с Жилем, измерявшим пластик, был в машине, которая стояла напротив нас. Глаза его ничего не выражали, он просто смотрел, но я покраснела, точно он поймал меня на месте преступления. Моторы замедлили ход, раздался спасительный звонок.

— Ладно, — сказал Жиль, вылезая, — пора кончать. Пошли. Вы едите в столовой, мадемуазель Летелье?

— Нет, в раздевалке.

— Всухомятку?

В этот вечер Арезки не ушел из цеха раньше времени. Когда он заметил, что я кладу на место свою планку, он прошел сзади меня и кинул:

— До скорого, я жду вас.

Мы доехали до ворот Лиля, как в прошлый раз. Дорога показалась мне долгой.

Наконец мы погрузились во мрак Рю-де-Глайель.

— Походим сначала? — спросил Арезки.

Мне это показалось дурным предзнаменованием.

Улица была короткая, плохо освещенная. Мы шли медленно. Арезки — в пиджаке, засунув руки в карманы, втянув шею в плечи, я — прижимая к бедру сумку. Он возвышался надо мной сантиметров на двадцать. Я ждала, что он заговорит первым. Сначала он произнес банальности: холодно, зима, как хорошо, когда рабочий день позади. Я едва отвечала.

— В тот вечер я сказал вам, что у меня день рождения, но я родился в июле.

— Да?

— Да. Я хотел, чтоб вы знали, потому что потом, когда я слушал вас, я сожалел, что так сказал.

— Но зачем вы сказали это?

Арезки пожал плечами.

— Да просто так. Чтоб вы не отказались.

Мы подошли к углу. Он колебался, в какую сторону пойти. В конце концов мы повернули обратно к бульвару Серюрье.

— Не имеет значения. Вам было тоскливо, хотелось, чтоб кто-нибудь был рядом. Нечего извиняться.

— Да, правда. Я вас задерживаю. У вас может быть, дела. Гулять ночью, в холод...

Я возразила, что, напротив, мне очень приятно. Мне казалось, он покинет меня в конце улицы. Люди возвращались парами, мужчины несли хлеб, бутылки, эти люди знали, куда идут, у них был дом, они могли быть вместе, могли позволить себе удовольствие говорить друг с другом сколько душе угодно.

— Я подумала, что вы сочли меня болтливой и нудной. Вы избегали меня.

— Я? — сказал он.

Он посмотрел на меня. Он улыбался. С ним это редко случалось.

— Во время работы не поговоришь. Кроме того, я не хотел втягивать вас в неприятности. Если бы кто-нибудь увидел, что мы разговариваем, выходим вместе...

Мы шли по бульвару, точно по светлому коридору, образованному желтым неоновым рекламам. Машин наконец стало меньше.

Я повеселела. Он это почувствовал. Мы не-

принужденно болтали о нашей работе, товарах, конвейере.

— Откуда вы так хорошо знаете французский?

— Повезло, — сказал он.

Внезапно передо мной возникла автобусная остановка — ворота Пантен. Надо было расставаться. Автобус пришел тотчас. За мгновение до того, как я влезла, он опустил, прощаясь, воротник моего пальто. Я протерла кулаком запотевшее стекло и увидела, как, оглянувшись по сторонам, он переходит улицу.

О, притихшие озера, цветущие тропинки, подлесок, полный папоротников, поля пшеницы, где возлюбленная, сама золотящаяся как колос, поджидает свидания, о, ручьи, вдоль которых прогуливаются вдвоем. Старые, зарытые, погребенные, но не умершие мечты. Вот что мне досталось: ворота Лиля, спуск к Пресен-Жерве, на горизонте гаснущие дымы засыпающих заводов, пригородная степь, иссушенная холодом, пропахший бензином воздух, безлюдный бульвар, где машины трутся о тротуары, и этот человек подле меня, человек, с которым я в третий раз брожу, точно рай ждет нас в конце пути.

А в конце пути было «спокойной ночи, до завтра», сказанное с несколько большим чувством, чем раньше. И каждый в свою сторону. Разговаривали мы по-прежнему робко. Арезки, доверчивый еще минуту назад, вдруг замыкался от одного слова.

В четвертый раз Арезки щепнул мне: «Сегодня вечером увидимся». Потом добавил:

— Только не около автобуса. Я вам объясню. Вы сядете на метро, на линию Ла Вилетт. На станции Сталинград выйдете и на лестнице, у выхода подождете меня. Ладно?

Это была длинная речь. Один раз ее прервал Мюстафа; Мадьяр прошел между нами, и Бернье, со своего табурета, засек нас вместе.

Станция Сталинград была уже не на окраине, а в самом городе. Арезки нашел меня там, где было вечно, в толпе, спускавшейся и поднимающейся по каменной лестнице.

— Сюда.

Здесь было много арабов. Мы перешли на другую сторону и углубились в плохо освещенную Рю-де-л'Акедюк. Он привел меня в маленькое деревенское кафе, старая женщина сидела за стойкой.

— Добрый вечер, матушка, — сказал он, потирая руки. — Как поживаете?

— Добрый вечер, сынок, добрый вечер, мадемуазель.

Арезки выбрал самый дальний из четырех столиков, застеленных клеенкой.

— Снаружи нам было бы слишком холодно.

— Да.

Но мне было жаль темноты, возможности шагать, не видя друг друга. Здесь мы были скованы, говорили только глаза.

Старуха принесла два кофе. Арезки знал это место. Раньше он здесь кормился, он работал поблизости.

— У электрика. Я испробовал много профессий. Это не существенно, правда? Существенно, кто ты, а не то, что ты делал.

Я согласилась. Я не посмела возразить, что человек — это и то, что он делал. Мы заговорили о Париже. Арезки объяснил мне планировку города. Я спросила, любит ли он Париж.

— Любил. Теперь я ничего не люблю.

Глаза сверкали на его треугольном лице. Я никогда не видела его так близко.

— Вылюбите Алжир? — спросила я, улыбаясь.

— В мире нет места, которое я бы любил.

Стоило мне заговорить о войне, взгляд его угасал, уходил в сторону, избегал меня. Старуха разговаривала сама с собой, передвигая бутылки. Было тепло, мы чувствовали себя в укрытии. Два раза Арезки коснулся моих пальцев. Я погрузилась в молчание, оно затянулось, он глядел на меня с улыбкой.

Теперь хозяйка выказывала признаки нетерпения. Два кофе за вечер, на этом не разживешься. Арезки взглянул на часы.

— Мне пора.

Мы вновь оказались на улице, где от резкого холода немели губы. В тепле метро Арезки объяснил мне, что здесь он со мной расстанется. Он пойдет пешком, ему нужно зайти к приятелю. Я сказала, что это не имеет значения. Он проводил меня до платформы, сказал, где пересаживаться. Показался поезд. Тогда он притянул меня к себе и поцеловал в щеку, очень быстро. Я не отстранилась. Он снова поцеловал, потом отпустил меня. Я вошла в вагон, внезапно меня охватило желание остаться с ним, я растолкала соседей и выбралась на платформу. Поезд тронулся. Я видела, что Арезки пошел по левой лестнице, и побежала в ту сторону. На лестнице его не было. Куда идти? Передо мной открывалось несколько коридоров. Над одним висела табличка: «Выход». Он сказал: «Я пойду пешком». Мне стало страшно в этом коридоре, облицованном белым кафелем, похожем на коридор больницы.

Я миновала турникет, люди входили и выходили. Арезки не было. Мне показалось, что он мелькнул справа. Но это был не он. Я пошла на улицу. Там, где метро выходило на поверхность, стояли две полицейские машины и кучка людей, окруженная полицейскими с автоматами. Я это видела впервые. Другие полицейские отгоняли прохожих. Я замерла. Где Арезки? Не стоит ли он там, в нескольких метрах от меня, подняв руки вверх? Темнота и полицейский заслон мешали что-либо разглядеть. Мне стало страшно. Я не могла сде-

лать ни шагу. Черные плащи, автоматы попереки груди, черные машины, черные блестящие краги, черный мрак, черные ремни, люди с черными, вьющимися или прямыми волосами. «Арезки там», — подумала я. Мне захотелось, чтоб он увидел меня. Но я была парализована страхом. Между тем людей, проходивших мимо, все это ничуть не смущало. Два полицейских, наблюдавших за лестницей, посмотрели на меня. Я поднялась на несколько ступеней и перед турникетом еще раз обернулась. Сверху я видела только колеса машин и гигантские тени на столбах, автоматы казались огромными, как пушки.

Мне хотелось побежать к Люсьену, рассказать ему обо всем. Но я вернулась домой и легла, не ужиная. Мне мерещился Арезки с поднятыми руками. Теперь, когда я всмотрелась в его лицо, он стал мне еще дороже.

Я все же заснула и встала слишком поздно, но так торопилась, что оказалась у ворот завода задолго до положенного времени. В раздевалке, еще пустой, скрип петель, когда я открывала дверцу шкафа, больно царапнул меня. Я быстро прошла на свое рабочее место и забралась в машину, не отрывая глаз от входа в цех. Арезки появился вместе с тунисцами. Несколько минут он болтал с ними. Напевая, взобрался на конвейер Мадьяр. Увидел меня и сказал: «Здравствуйте», Мюстафа обучил его этому слову. Маленький марокканец приветственно махнул нам рукой. Доба и наладчик остановились около Бернье, вытиравшего пыль со своего попюпитра. В этих минутах перед пуском конвейера была сладость отсрочки. Я всякий раз представляла себе невероятное чудо: появится Жиль с палочкой и гигантской таблицей и объяснит нам своим строгим красивым голосом все те метаморфозы, в осуществлении которых принимали участие наши руки.

Звонок подстегнул опаздывающих. Заработали моторы, машины двинулись вперед, поползли перед нами, чтоб уже никогда не вернуться назад, и, крутясь на предписанных нам участках, совершая рассчитанные, выверенные движения, мы, крохотные колесики, издающие едва слышный скрип, принялись трудиться ради высшей цели: производства.

Несколько раз Арезки безуспешно пытался поговорить со мной. Утро тянулось нескончаемо, нам не удалось обменяться ни словом. Мюстафа и Арезки о чем-то непрестанно спорили. Арезки казался раздраженным, и Мюстафа тщетно старался рассмешить его.

— Убирайся, — кричал Арезки, — иди к той девушке, дай нам работать.

Мюстафа, обиженный, ушел.

В полдень, по сложившемуся ритуалу, Арезки принес мне тампон, смоченный в бензине. Я положила мою планку, мы прислонились к окнам.

Мюстафа подошел к нам. Он что-то сказал Арезки, и оба они направились вверх по конвейеру. Как только раздался звонок, я кинулась в проход, но для вида остановилась возле Доба. Арезки опередил его на несколько метров.

— Ну что, пора пожевать?

— Да, но...

Я придумывала, что сказать.

— Я хотела поговорить с вами о брате.

— Со мной? — сказал он удивленно.

Арезки уже затерялся в потоке. Я поняла, что мне его не догнать.

Доба снял куртку и прицепил ее на гвоздь, на котором висели гигантские ножницы.

— Смотри, Мохаммед, не вздумай трогать.

На нем был гранатовый жилет ручной вязки поверх фланелевой коричневой рубашки, обрисовывавший заметный животик.

— Так что ваш брат?

— Он не переносит краски. У него худо со здоровьем. Вы не можете попросить, чтоб его опять спустили сюда, к вам?

— Я? С этим следует обращаться к Жилу. Что я могу... Пусть поговорит с доктором или с профоргом.

— Эй, — кричал проходивший мимо наладчик, — вы чем тут занимаетесь на пару?

Доба засмеялся.

— Она рассказывает мне о своем брате. Он заболел в красильном и хотел бы переменить участок.

Наладчик перестал улыбаться.

— Сам виноват. Нечего было воду мутить, когда он работал с нами. А теперь они будут его там держать, пока он сам не уйдет.

Он остановился, поднес зажигалку к погасшей сигарете.

— Я пытался ему растолковать, — подхватил Доба. — Он молодой парень, не знает жизни. Я говорил ему, не возжайся с этими ратонами, не впутывайся в их истории, делай свою работу, не препирайся с начальством, здесь не место политике. Он меня и слушать не стал, перессорился со всеми, даже с профоргом. Они разругались вот здесь, в цеху, перед самым вашим появлением. Он задирается. Людям это надоело, начальству тоже. Он нежелательный элемент, слишком много спорит.

— Да, я понимаю. Простите, — сказала я, — я вас задержала.

— Пустяки! Надо урезонить его, это ваша обязанность. Ну, приятного аппетита.

Я толкнула дверь раздевалки. Женщины уже расположились, мое обычное место было занято. Я подошла к работнице, которая вытянула на скамье уставшие ноги.

— Простите, вы не подвинетесь чуть-чуть.

Она отодвинула ноги и, не обращая на меня внимания, продолжала разговаривать с товарками. Одна из них рассказывала о своем столкновении с бригадиром.

— Там, где я раньше работала, — заключила она, — было еще хуже.

У нее были приятные черты, но лицо портило густая сетка морщин у глаз.

— Зато там, по крайней мере, не было арабов, — добавила она.

Я покраснела, но никто не смотрел на меня.

Вошла Диди — девушка, напоминавшая мне Мари-Луизу. Не чертами лица, но спокойным, дерзким взглядом, походкой, сверкающими серьгами-кольцами, манерой затягивать рабочий халат широким черным лакированным ремнем, подчеркивая маленькие груди. Она попросила сигарету и ответила распрашивавшей ее женщине, что длинный чернявый из красильного приглашал ее выпить кофе.

— Все они там чернявые, в красильном, — фыркнула одна из женщин.

Другие расхохотались. Там, наверху, почти все рабочие были негры. Девушка пожалала плечами.

— Вы что же думаете, я пойду с негром?

— Подцепила же ты алжирца.

— Да ну его, — сказала она, — я ему в конце концов дам по морде. Станет передо мной и стоит, смотрит. Сегодня все утро улыбался мне.

— От них не отцепишься.

— Но этот чернявый из красильного мне в самом деле нравится.

— Без десяти, — сказал кто-то.

— Ну что ж, — вздохнула моя соседка, — произведем ремонт.

Она открыла пудреницу. Ее старательность шла вразрез с ироническим тоном.

Соседка сделала замечание Диди, что она держит раскрытой настежь дверь раздевалки.

— Я подстерегаю моего мальчика.

Ее пестрый халат, яркое лицо, кольца в ушах оживляли хмурый сумрак раздевалки. Вся эта мишурка, которая в любом другом месте показалась бы кричащей, здесь, среди гнетущих серых стен, пробуждала жажду жизни. Я представляла себе, как притягивало мужчин каждое ее движение. Она бессознательно выставила себя напоказ, как лакомство в витрине, но когда на нее устремлялись жадные изголодавшиеся взгляды, она уклонялась, обманывая ненасытные желания мужчин.

Я пригладила рукой волосы и вышла. Прозвонил звонок — перерыв кончился. Я побежала вместе с опаздывающими.

Стоило перешагнуть порог цеха, как на тебя обрушивались запахи и шум, они хватили тебя в клещи и, как бы ты ни сопротивлялся, в конце концов перемалывали тебя. В особенности шум. Моторы, молоты, станки, скрежещущие как пилы, и, через равные интервалы, грохот падающего железа.

Арезки посмотрел на меня один раз, да и то отсутствующим взглядом. День меркнул, остал-

ся только светлый отблеск вдоль стекол. Маленький марокканец сказал: «Еще один миновал».

Арезки был далеко. Его ящик с инструментами остался на полу в машине, которую я проверяла. Я наклонилась, стала в нем рыться, почему-то вообразив, что он спрятал там записочку для меня. Ничего не найдя, я вылезла расстроенная. Машины опустели, шум заглох. Утих грохот конвейера. Я узнала спину Арезки в толпе рабочих, уже добравшихся до двери. Он даже не попрощался со мной. Я еще надеялась встретить его на лестнице, потом у выхода, наконец — на остановке автобуса. Но так и не увидела. Вернулась я домой, чувствуя себя одинокой и несчастной.

Я поняла смысл выражений: «земля уходит из-под ног», «сохнет во рту», «сердце сжимается», — над которыми прежде смеялась. Всякий раз, когда Арезки проходил мимо меня, ограничиваясь тихим «извините», каждый раз, когда он упускал возможность остаться наедине со мной, я ощущала боль во всем теле.

Он являлся по утрам в сопровождении Мюстафы и тунисцев, которые занимались потолками. В полдень он присылал мне с Мюстафой вату, пропитанную бензином, тот паясничал, передавая тампон, но рассмешить меня ему не удавалось. Арезки работал в стороне, опережая на несколько машин ту, где находилась я. По вечерам, становясь в очередь на автобусной остановке, я охотно пропускала вперед соседней в надежде оказаться с ним рядом. Феерия моста Насьональ оставляла меня равнодушной, хотя мелкий теплый дождик превращал в зеркало тусклую поверхность шоссе. От малейшей ерунды слезы наворачивались мне на глаза. Хотелось плакать от заголовков газет, от собственной неприбранности, отраженной в стеклах, от пустячных неприятностей, в которые я вкладывала все свое расстройство. Ну, чего расстраиваться — убеждала я себя, когда рассудительность брала верх. Я скоро уеду. Вернусь к бабушке, к Мари, к комнате Люсьена. Теперь это моя комната, я все устрою по-своему.

Ворота Шапель. Я иду пешком к своему Дому Женщины. Дух ярмарки владеет улицами, приближение рождества преобразило витрины. Мясники, булочники украсили свои лавки электрическими гирляндами, на стеклах огромные надписи белой краской возвещают сочельник. Все кругом пестрит, кричит, пылает. И я тронута, взволнована, возбуждена. Вспоминаю: господин Скрудж, рождественские сказки Диккенса с их необъятными индейками, гигантскими пирогами. Господин Скрудж... Хорошее было время. Мне было тринадцать лет, Люсьену — шесть. Питались мы плохо и индеек никогда не видали. Бабушка нам их описывала. Я читала вслух ей и брату. Он слушал меня, затаив дыхание. Поднимая глаза после каждого

абзаца, я упивалась этим внимательным, сосредоточенным лицом. Мне льстило его внимание, а меж тем оно относилось вовсе не ко мне — к вымыслу. В ослеплении своем я и втянулась в роль заботливой матери Люсьена. Интересно, помнит ли он еще господина Скруджа?

Едва захлопнув за собой дверь комнаты, я валилась на узкую кровать, и на мгновение подавленная усталость, внезапно всплыв, прижимала меня к постели, не было сил пошевелиться. Я откладывала на завтра чистку туфель, стирку халата. Мышцы мстили за совершенное над ними насилие. Я произносила вслух «Арезки», и слезы снова наворачивались на глаза.

Мне показалось, что Арезки несколько раз посмотрел на меня. Я старалась не поднимать глаз. Мадьяр часто улыбался мне. Он теперь вполне правильно выговаривал: «спасибо, простите, здравствуйте, дерьмо», — последнее слово он приберегал для Бернье.

Вдруг Арезки оказался за моей спиной. Но тут подошел Жиль, и Арезки остановился.

— Мадемуазель Элиза, — сказал Жиль, — как дела? Порядок? Скажите, что это за история с потолками, еще три разрыва не отмечены.

Жиль внушал мне уважение. Несколько секунд он глядел на меня своим ясным пронизательным взглядом.

И, наклонясь ко мне, добавил:

— В январе я добыюсь, чтоб вас перевели в контору.

Он поднялся на настил транспортера, оперся на капот проходившей машины и тяжело спрыгнул в проход.

Я бросила взгляд налево. Арезки созерцал свою отвертку. Я слышала стук собственного сердца. Я хотела бы отойти, будто и не жду его, но ноги не двигались. Он приблизился и быстро прокричал мне в ухо:

— Подождете меня вечером на остановке, как раньше? Только выходите попозже, в шесть двадцать, двадцать пять. Хорошо?

И тут же очень громко добавил:

— У машины, которая сейчас подойдет, порван пластик над зеркалом.

Машина прошла, приблизилась следующая. Мадьяр, выходивший из нее, взглянул на меня с недоумением: я стояла, как столб. Арезки, не дожидаясь ответа, вернулся к тунисцам, натягивавшим пластик на потолок.

Чтоб растянуть время, я несколько раз помыла руки. Женщины убегали, даже не приводя в порядок лицо. Их ждала новая работа, наводить красоту для нее не было никакой нужды. Самые молодые, те, у кого было назначено свидание, производили свой «ремонт». Это и в самом деле напоминало ремонт. Девять часов завода разрушали самые гармоничные лица.

— Поскорей бы на пенсию... — вздохнула соседка, застегивая пальто.

Я запротестовала.

— А что, — сказала она, — разве уход на пенсию не начало сладкой жизни?

— Это будет конец вашей жизни.

— Ну и пусть. А сейчас что она такое, моя жизнь? Вечно бежишь, торопишься, работаешь. У меня, наконец, будет время, я смогу пожить в свое удовольствие.

Часы у ворот Шуази показывали половину. Арезки уже стоял в очереди, но как-то сбоку. Я направилась к нему. Он сделал мне знак. Я поняла и встала вслед за ним. Появился Люсьен. Он меня не заметил, а я сделала вид, что не вижу его. Он закурил, и огонек осветил костистый высушенный профиль, почерневший от щетины.

Мы попали в один автобус. Выйти из очереди было невозможно, он заметил бы меня. Я стала, не оборачиваясь, пробираться вперед. Арезки не обращал на меня внимания. У Венсенских ворот, где сошло много народу, я оказалась рядом с ним. Он спросил, где я хочу выйти, чтоб мы могли немного пройтись. Я сказала: «У Монтрейских ворот». Я высмотрела в предыдущие вечера улицу, кишущую народом, где, как мне казалось, мы могли легко затеряться.

Он вышел, я следом за ним. Видел ли нас Люсьен? Эта мысль смущала меня. Мы перешли на другую сторону, и Арезки, разглядывая два соседних кафе, спросил:

— Выьем горячего чаю?

— Если хотите.

Было битком набито, шумно. Казалось, все диванчики заняты. Арезки прошел во второй зал. Я подождала у стойки. Некоторые посетители разглядывали меня. Я чувствовала на себе их взгляды и догадывалась, что они думают. Показался Арезки. Меня вдруг как громом поразило: боже, до какой степени он араб! Внешность некоторых рабочих в цеху — светлая кожа, каштановые волосы — допускала сомнения. В тот вечер на Арезки была не рубашка, а черный или коричневый свитер, подчеркивавший его смуглость. Меня охватило смятение. Я мечтала оказаться на улице, в толпе.

— Мест нет. Но ничего, выьем у стойки. Идите сюда.

Он подтолкнул меня в уголок.

— Чаю?

— Да.

— И я тоже.

Официант торопливо обслужил нас. Я дула на чашку, чтоб проглотить поскорее свой чай. В зеркале, за кофейной машиной, я заметила мужчину в форменной фуражке служащего метро, который изучал меня. Он обернулся к своему соседу, складывавшему газету.

— А я, — сказал он нарочито громко, — я бы садал атомной бомбой по Алжиру.

Он снова поглядел на меня с удовлетворенным видом. Сосед с ним не согласился. Тот проповедовал:

— ...отправить бы всех этих ратонов, живущих во Франции, в лагеря.

Я испугалась, что Арезки не выдержит, и искоса взглянула на него. Он сохранял спокойствие, — внешне, по крайней мере.

— Говорят, нас разобьют на бригады, — сказал он мне.

Голос его был тверд. Он получил эти сведения от Жилия и подробно растолковал мне все плюсы и минусы. Я успокоилась. Я стала спрашивать его, но прислушивалась не к его ответам, а к тому, о чем говорили люди вокруг нас. У меня создалось впечатление, что, отвечая мне, и он тоже следил за разговорами.

Когда я шла к выходу, человек, который предлагал бросить атомную бомбу, сделал шаг ко мне. К счастью, Арезки был впереди. Он ничего не заметил. Я молча отстранилась и догнала Арезки на улице с ощущением, что избежала скандала.

Рю-д'Аврон, мерцая, убегала в бесконечность. На несколько минут нас поглотили витрины.

— Ну, — спросил он иронически, — как поживаете?

— Хорошо.

— У вас последние дни был несчастный вид. Вы не болели?

Смейся, смейся, Арезки. Ты здесь. Ты рядом. И на этой праздничной улице мне хочется рассказать тебе о господине Скрудже, об индейках. Прекрасные сказочные мгновения. Хочется говорить только легкие, невесомые слова, вызывающие улыбку.

— Вы должны извинить меня, я был занят последние дни. Ко мне приехали родственники.

— Я думала, вы сердитесь. Вы со мной не здоровались, не прощались.

Он протестует. Он кивал мне каждое утро. И разве это так важно? Нужно бы, сказал он, как-нибудь назначить определенное место, где мы могли бы встречаться.

Я соглашаюсь. Магазины попадают все реже, Рю-д'Аврон мерцает все глуше, там, впереди нас, она темна, фонарей почти нет. Переходим на другую сторону. Арезки держит меня под руку, потом его рука проскальзывает за моей спиной и ложится мне на плечо.

— Я очень занят эти дни. Но в понедельник, например... Ваш брат вошел в автобус вслед за нами. Вы видели его?

— Видела.

— Элиза, — сказал он, — может, перейдем на «ты».

Я отвечаю, что попробую, но, боюсь, не смогу.

Единственный мужчина, с которым я на «ты», это — Люсьен.

— Ну вот, — сказал он насмешливо, — сейчас она опять будет рассказывать мне о брате...

Всю нашу первую прогулку, замечает он, я ни о чем, кроме Люсьена, не говорила.

— Я даже задумался, в самом ли деле ты его сестра. Где мы можем встретиться в следующий понедельник?

— Но я не знаю Парижа.

— Этот район не годится, — заявляет он.

— Решайте сами, скажете мне в понедельник утром.

— Где? На конвейере? При всех?

— А почему бы нет? Другие же разговаривают друг с другом. Жиль разговаривает со мной, Доба...

— Ты забываешь, что я алжирец.

— Да, я забываю.

Арезки стискивает меня, трясет.

— Повтори. Это правда? Ты забываешь об этом?

Он пристально вглядывается в меня.

— Да, вы отлично знаете. Я не могу быть расисткой.

— Это-то я знаю. Но я думал, что тебя, как Люсьена и ему подобных, напротив, притягивает экзотика, тайна. Год тому назад...

Мы снова пускаемся в путь, он опять обнимает меня за плечо.

— ...я познакомился с одной женщиной. Я ее... да, я ее любил. Она каждый день читала в своей газете фельетон в картинках под названием «Страсть мавра». Он ей запал в голову. Тут еще примешались воспоминания о ее отце, который во время войны с немцами был польщиком.

Он замолкает. Мы подходим к людному месту, и рука Арезки меня стесняет. Я боюсь толпы. На двери газетного киоска вечерний выпуск возвещает: «Организация ФЛИ в Париже обезглавлена».

Арезки прочел. Веки его дрогнули.

— Любят ли когда-нибудь из чистых побуждений? — сказала я сухо. — Приходится удовлетворяться...

— Это не для меня, — отрезал он.

Молча доходим до входа в метро.

— Нужно расставаться. Поздно.

Я сдерживаю чуть не сорвавшееся «уже?».

— Да, вы, должно быть, устали.

— Устал? Нет.

Это предположение ему не по вкусу.

— Имей в виду, — голос у него ласковый, — вот уже три дня я не ложусь из-за тебя.

И, видя мое удивление, поправляется:

— Нет, надо сказать: не сплю. Я хотел видеть тебя, но не мог. Я не хочу говорить с тобой на людях. Я подумывал передать тебе через брата, но решил обождать.

Прошла полицейская машина, громко гудя сиреной. Арезки отпустил мою руку. Машина не остановилась.

— Холодно. Пошли, пора возвращаться.

Он объяснил мне, где пересечь.

— Где вы живете?

Он ответил не сразу, потом сказал:

— Неподалеку от станции Жорес.

Я пожалела о своем вопросе. Я знаю, он солгал. Мы входим в вагон, садимся друг против друга. Он мне говорит только:

— Сойди здесь, перейди на линию Дофин, — и крепко пожимает руку, которую я ему протягиваю.

Следующее воскресенье я провела в кровати.

Я долго спала. Где-то я вычитала, что сон делает женщину красивей.

В понедельник утром Мюстафа и Мадьяр опоздали. Мюстафа пришел первым и, подойдя к Бернье, подстерегавшему его, отдал честь по военному. Весь гнев Бернье обрушился на Мадьяра. Но Мадьяр, державшийся все более независимо, отделался от него и залез в машину. Увидел меня и закричал: «О-ля-ля!», показывая на Бернье. Арезки работал довольно далеко и еще не поздоровался со мной. Пусть останется конвейер! Мне необходимо посидеть, подумать спокойно. Но конвейер не останавливается, и мысли наплывают в такт движениям. Синкопированные страхи. Мелькает силуэт Арезки, я успокаиваюсь. Мне приятно, что мы с ним гребцы на одной галере.

Когда мы впервые в это утро оказались вместе, к нам подошел Мюстафа. Арезки отослал его под каким-то предлогом.

— Сегодня я не могу, — сказал он мне. — Отложим до другого вечера, да?

Маленький марокканец грубо оттолкнул меня. За ним стоял Жиль. Вернулся Мюстафа с ящичком гвоздей, опрокинул его перед носом Жили и, не подумав собрать их, пристроился возле Арезки.

Тут в машину вошел наладчик.

— Это он, — сказал он, указывая на обернувшегося Мюстафу. — Я наблюдал за ним. Прибывая, он тянет материю, она рвется.

Жиль потеснил Мюстафу и отобрал у него молоток. Он внимательно осмотрел реборду, потолок и стал прибивать уплотнитель. Мюстафа ждал, наморщив нос и ругаясь по-арабски.

Жиль знаком подозвал наладчика:

— Ему приходится натягивать материю, чтоб она вошла под реборду, материя рвется... Вы кроите в обрез... Оставляйте на три-четыре сантиметра больше.

Мюстафа поднялся, насвистывая.

Жиль вылез, за ним наладчик.

— Ну так что мне делать? — закричал Мюстафа. — Продолжать или нет?

— Продолжай и старайся тянуть не слишком сильно.

И Жиль ушел.

Я была одна в машине. Арезки вылез несколькими минутами раньше. Я вышла из машины и обогнула ее. Мадьяр устанавливал задние огни. Коварная усталость пилой прошла по мускулам икр. Я оперлась правой ру-

кой о крышку багажника. Она покачнулась и захлопнулась. Я услышала крик Мадьяра. Он бросил инструмент и успел раньше меня поднять крышку. Но ее край на этом этапе конвейера был еще острым, как нож. По кисти и запястью Мадьяра текла кровь.

Я молча глядела на его раскроенную руку. Мюстафа, марокканец и еще один рабочий усталились на нее с таким же дурацким видом.

Мадьяр держался за запястье. Кровь текла ручьем. Он вытянул из кармана платок, твердый от высохших соплей, показал пальцами, что надо стянуть руку. Я наложила подобие жгута.

— Пойдем, — сказала я.

Он пошел следом за мной. Бернье на месте не было. Мы стали искать его. Другие смотрели на нас, я была довольна, что меня видел Арезки.

— Что случилось?

Подошел Жиль. Я объяснила. Он нашел в ящике Бернье талон в медпункт. Потом подумал и дал мне второй.

— Проводите его, он не говорит по-французски.

Мы прошли сквозь строй машин. Никто не свистел. На первом этаже, когда мы проходили мимо уборной, он остановился и сказал мне: «Пописать». Этому слову он тоже научился.

Я ждала перед дверью. Он не выходил. Я забеспокоилась, я боялась, что ему стало дурно, и, поскольку никого не было видно, приоткрыла дверь, чтоб посмотреть. Запах был тяжелый, как в стойле. Тошнотворный. Мадьяр приводил себя в порядок. Он вытянул полу рубахи, намочил ее в проточной воде унитаза и тер ею ладони. Я сделала ему знак: «Быстрее, быстрее». Он улынулся и показал мне одну ладонь, почти чистую.

На размалеванной стене были выцарапаны ножом требования:

«Наши пять франков».

«Душевые».

«Компартию к власти!»

Похабщины почти не было.

— Быстрее, — сказала я опять Мадьяру, который теперь протирал лицо все той же мокрой полрой рубахи.

На правой стене большими неровными буквами, написанными торопливой рукой, было выгравировано: «Слав аль Жиру».

Это явно значило: «Слава Алжиру». Меня взволновало, что сделавший это не умел даже написать название страны, которую стремился восславить. Я вспомнила табличку Мюстафы: «Нет рогатым». Мне хотелось бы поговорить обо всем этом с Арезки.

Я объяснила сестре, как произошел несчастный случай. Мадьяр созерцал поющий чайник. Глаза его выражали полнейшее довольство. Он, должно быть, радовался, что успел привести себя в порядок перед тем, как попал в эту бедую, теплую комнату. Для всех этих людей,

перебрасываемых с завода в общежитие, или в барак, или в жалкие номера, медпункт был воплощением сладости жизни, роскоши, к которой они имели возможность приобщиться лишь изредка.

Я вернулась в цех и отдала Бернье талон.

— Что с ним? — спросил он.

— Его, наверно, отправят в больницу.

— Ох уж эти иностранцы, — вздохнул он, — везет им на несчастные случаи.

— Это моя вина. Я захлопнула нечаянно крышку.

— Придется докладывать, если он не вернется на работу. Я поставил на ваше место Доба. Ступайте.

Мюстафа, Доба и еще несколько человек подошли расспросить меня, подошел и Арезки. Мы обменялись коротким, ничего не значащим взглядом. Его глаза, необыкновенно изменчивые, отлично выражали смену настроений. И был у него этот взгляд — нейтральный, безразличный, пресекавший всякую возможность сближения.

Довериться брату? Какая идиотка. Я отлично знала, что не смогу ему ничего сказать. Язык не повернется. Да и о чем говорить? Все сводилось к четырем прогулкам по ночному Парижу, боязливим попыткам сближения и невероятным узорам, расшитым вокруг мною самой. Бернье прислал какого-то алжирца, чтоб заменить Мадьяра. Наладчик подходил несколько раз, чтоб посмотреть, как Мюстафа натягивает пластик.

Я уже давно обнаружила подспудную враждебность между рабочими. Французы не выносили алжирцев, да и вообще иностранцев, ставя им в вину, что те, отбивая у французов работу, выполняют ее плохо. Общий труд, общий пот, общие требования — все это было, как говорил Люсьен, «напоказ», для лозунгов. А на самом деле — «каждый за себя». Большинство приносило на завод свои обиды, свое недоверие. Нельзя поддерживать травлю арабов за стенами завода и отстаивать рабочее братство внутри этих стен. Подчас это прорывалось наружу, и тогда каждый укрывался для нападения и оборона за своей расой, своей национальностью, точно в крепости. Профорг пытался улаживать конфликты, но внутреннего убеждения в нем не чувствовалось. Однажды, когда он принес мне билет и марку, я призналась, что поражена этим и разочарована.

— Это связано с бескультурьем, — ответил он мне ни к чему не обязывающей фразой.

Он и сам говорил «ратоны», «круция» и злился на арабов за отказ участвовать в забастовке, выдвигавшей требование увеличить оплату на пять франков в час.

Конвейер остановился, прозвучал звонок. Мюстафа принес мне тампон с бензином, присланный Арезки. Это был знак. Оу не хотел говорить со мной.

Я надела пальто и пошла к Итальянским воротам. Мне было необходимо двигаться, говорить вслух. Резкие порывы ветра вздымали волосы, секли лицо. Сытая толпа, в ноябре надевающая сапоги на меху и пальто на теплой подкладке, на пасху весенние костюмы, а в августе отправляющаяся на море провести отпуск, — толпа, зарабатывающая в поте лица деньги на развлечения, шагала, присаживалась в кафе и опускала глаза долу, когда на ее территорию проскальзывали чуждые ей, пугающие существа: истощенные, одетые и в ноябре повесенному, едва зарабатывающие на хлеб, хоть и они тоже трудились в поте лица. К счастью, этим существам были отведены специальные места — бидонвили, жалкие гостиницы. Они группировались там по землячествам: отдельно — алжирцы, отдельно — испанцы, отдельно — португальцы и отдельно, естественно, французы. Но и эти, впрочем, также делились на категории: алкоголики, лентяи, чахоточные, психи. У гетто есть свои преимущества. Но эти изгой умудрялись все-таки просочиться к нормальным людям, они оказывались рядом — в метро, в кафе, они были шумны, бестолковы, неумеренно пили. И если в одной из этих пародий на род человеческий, в темной холодной лачуге, среди отбросов, чудом разгорался свет, огонь, пламя, это сулило несчастному отверженному только еще большие тяготы.

Значит, это и есть настоящая жизнь? Вся эта мешанина и есть настоящая жизнь. Как сладка была та, прежняя, лишенная определенности, далекая от гнетущей правды. Простая, животная жизнь, расцвеченная мечтами. Я говорила: «Настанет день...» — и мне этого хватало. Вот он и настал, этот день, я живу настоящей жизнью, вместе с другими людьми, и я страдаю. «Не годишься ты в бойцы», — сказал бы Люсьен.

Я физически ощутила необходимость поговорить с ним и повернула обратно, к столовой. Люди выходили. Появился Жиль, узнал меня, я сказала, что жду брата.

— А я что-то не видел его. Подождите.

— Его нет, — сказал Жиль, вернувшись. — Место Люсьена как раз напротив моего, у меня впечатление, что он сегодня не приходил.

Жиль поинтересовался, как дела, я ответила, что хорошо, и вернулась на завод.

Хорошенькая Диди стояла посреди раздевалки под лампочкой и, задрвав голову к слабому источнику света, красила губы. Она увидела меня и спросила:

— Это вы сестра чернявого парня из красивого? Он болен или уволился?

Тревога погнала меня к Люсьену в тот же вечер. В присутствии Анны я всегда испытывала неловкость, но было не до этого. Открыла дверь она.

Люсьен полулежал в кровати, прислонясь к деревянному изголовью, и спорил с сидевшим у него в ногах Анри.

— Ну что я говорил? — воскликнул брат охрипшим голосом. — Вот и она! Испугалась? — закричал он мне. — Думала, я умер?

— Нет. Но я вижу, ты болен.

— Именно, болен... Насморк у меня, дура. Но завтра я выйду на работу.

— Ну раз ты хорошо себя чувствуешь, я пошла.

— Присядь на минутку, — сказал он. — Так, давай, Анри!

У Анри в руках были листы бумаги, он стал читать. Это был рассказ об условиях работы, о методах заводской администрации, записанный со слов Люсьена.

— Очень хорошо. Я передам это Глотену, он пропустит этот материал в ближайшем номере, как «письмо в редакцию».

— Ты веришь в силу слова?

— Я верю во власть публичной подписи, — сказал Анри сухо.

— Глотен ведь в прошлом коммунист?

— Да, что из этого?

— Ничего, — сказал Люсьен. Он вздохнул, откашлялся... — Эти люди, когда они выходят из партии, перестают существовать. Партия для них — спинной хребет. Потеряв ее, они возвращаются к состоянию амебы.

— Мы поговорим об этом в другой раз, согласен?

— Согласен. Анна, дай мне лимон.

Анна встала, разрешила пополам лимон и подала ему.

— Так ты лечишься?

Когда я задавала такого рода вопросы, мой голос, помимо воли, звучал неприятно, иронически и ворчливо. Он повернулся ко мне. Лицо его так и лучилось от улыбки.

— А как твой бико? В порядке?

Он произнес это слово, желая задеть меня.

— У нас сегодня был несчастный случай! Я рассказала о ранении Мадьяра, торопливо, стараясь отвлечь внимание.

Мне было стыдно перед Анри, еще больше перед Анной.

— А вы все еще в Париже, Элиза? Решили остаться?

— Нет, я уеду на рождество.

Люсьен отложил лимон.

— Ты уезжаешь в конце месяца?

— Мне пишут из дому. Я должна вернуться.

Я хотела, чтоб он ощутил укоры совести, хотела нарушить покой этой замкнутой жизни, в которую был открыт доступ только массам, войне, положению пролетариата, а для двух человеческих существ — его дочери и Мари-Луизы — вход был напрочь заказан. Я ему мстила. Он понял.

— Арезки будет скучать по тебе. Знаешь,

ты неплохо выбрала, это самый стоящий парень в цехе, может, даже на заводе. Он да еще Жиль. Но Жиль... Да, самый стоящий. Характер, однако, у него гнусный. Я с ним работал, знаю. Обидчивый, подозрительный. Жиль его тоже высоко ставит.

— Хотелось бы мне побеседовать с твоим Жилем, — вмешался Анри.

Люсьен сделал вид, что засыпает.

Анри встал, потянулся.

— Оставляю тебе газеты и листовки. Если найдешь ребят, которые могут распространить...

— Да, из тех, что клеили плакаты... Как видишь, и мы можем пригодиться.

Анна вышла вместе с Анри купить лекарства. Когда за ними закрылась дверь, Люсьен откинулся на подушку и сказал:

— Вечно ему необходимо с кем-нибудь встретиться. — И добавил: — Салонный деятель.

Я боялась оставаться с ним наедине. Я не знала, как завязать разговор, а молчать было невозможно...

— Тобой тут кто-то интересовался в перерыв.

Мне было стыдно собственной глупости.

— Кто? — спросил он с интересом.

— Девушка, которая проверяет замки. Хорошенькая брюнетка.

— Да, да, знаю, — сказал он, не открывая глаз, — девочка без предрассудков.

Он приподнялся и стал искать сигареты. Не найдя, снова упал на постель.

— Мне этого мало.

Я ничего не ответила. Анри ушел, я осталась, он дремал и, видимо, не вполне отдавал себе отчет, с кем говорит.

— К тому же...

Он надолго замолчал. Потом заговорил снова невнятным дремотным голосом:

— Есть люди, которые таят в себе оружие, убивающее любовь, — чрезмерность любви.

— Ты, кажется, философствуешь, — сказала я, смеясь.

— Я несущу чушь, да? — Он открыл глаза. — Который час?

— Я ухажу, половина девятого. Лечись, Люсьен. Ты похудел, побледнел.

— Опять ты за свое!..

Он встал. Вернулась Анна.

— Вот, — сказала она. И положила на стол пакетик с лекарствами.

— Сколько это стоило? — спросил брат.

— Три тысячи и... Анри одолжил мне денег.

— Анри?.. Почему бы нет, он поступил похвально, — добавил Люсьен. — Он положил начало великому перемещению богатств.

Подойдя к двери, я оглянулась на них. Свет от лампочки вобрал их в свой круг, как прожектор. Они не сдвинулись с места, когда я повернула ручку. Я уйду, а они останутся во власти магических чар.

Мадьяр вернулся с перевязкой на левом запястье. Он опять стал прикручивать фары.

— Ну как? — всякий раз спрашивал Мюстафа, сталкиваясь с ним.

— Хорошо, — говорил тот.

Через разбитое стекло проникал холодный воздух, и Бернье сказал, чтоб мы, пока стекло не сменят, загородили дыру картоном.

— Вот уже год, как оно сломано, — сказал кто-то.

Мадьяр работал в пиджаке, застегнутом на все пуговицы, воротник блестел от грязи. Я спросила Мюстафу:

— Почему он не наденет спецовку? И вы тоже?

— Что? О чем вы?

— Спецовку, — повторила я. — Холщовую куртку и брюки, как... ну, Доба, например.

— Я не ношу спецовок, — сказал он оскорбленно.

Когда он вылезал из машины, которую я проверяла, показался Арезки.

— Сегодня вечером, ладно? Повидаемся?

Я ответила, что не смогу. Я сказала это сухо, потом вышла и залезла в следующую машину. До полудня он не пытался заговорить со мной. Перед перерывом он сам принес мне тампон с бензином. Я не раскрывала рта; он направился к Мюстафе.

Доба шел по проходу, неся старые картонки от упаковки. Одну он положил возле меня. Чтоб заслонить дыру в стекле.

— Все им разжевал. Остается только вырезать и поставить. В столовку не пойдете?

— Я собиралась погулять.

— Неважно чувствуете себя? Холодно? Трудно? Что-нибудь не так сделали?

Чтоб доставить ему удовольствие, я о чем-то спросила. Мы спустились вместе. Мне это было удобно, не надо было проходить в одиночку мимо крикунов, устанавливавших замки, которые ели тут же в цехе, хотя это и было запрещено, а потом дремали в машинах.

Доба жаловался на ускорение темпа, мешающее работать тщательно.

— И потом, слишком много иностранцев, они ничего не умеют, а научить их нет времени. Вы завтракаете в раздевалке? Поберегитесь, всухомятку есть вредно.

Скамья — моя скамья — была свободна. Я могла сполна насладиться минутой. Незъяснимое блаженство — неторопливо жевать, время от времени прикрывая веки, отдаваясь мягкому оцепенению, которое постепенно растекается по всему телу.

Я ела и ощущала во рту вкус горячего чая, который мы с Арезки всегда пили во время наших ночных прогулок. Аромат чая смешивался со вкусом хлеба, перебивал его, я показала об утреннем отказе. Я так радовалась всему хорошему, даже пустяку, потому что хоро-

шее редко выпадало на мою долю. Люди благополучные, не ведающие лишений, даже не задумываются о природе своего довольства жизнью — настолько оно привычно. Им недоступна пьянящая радость, когда, продрогнув, попадешь в тепло, сытно поешь, выпьешь чашку кофе. Все трудности отступают, чувствуешь себя всемогущим, непобедимым только потому, что живот полон и ноги сухи.

Женщины примолкли. Вошла одна из работниц, рыжая, некрасивая, тощая и уже не первой молодости. Она открыла свой шкафчик, повозилась в вещах, потом защелкнула замок и сунула ключ за лифчик.

— Как дела, Ирэн? — спросила одна из женщин.

— Ничего, а ты как?

У нее был голос заядлой курильщицы, вибрирующий на низких долгих нотах, в его звучании было что-то чувственное. Все ее очарование было в голосе, жесткое, угловатое лицо отнюдь не вызывало симпатии.

Ирэн вышла. В группе женщин послышался шепот. Я уловила:

— ...она гуляет с алжирцами.

Выражение было общепринятым: гулять с... далее всегда следовало множественное число. Не было ничего оскорбительной: гулять с алжирцами, гулять с неграми...

На мгновение я представила себе, что буду откровенна с товарками. Я делю с ними скамью, я скажу им: разве вас это не удивляет? Что вы думаете об этом? Утром, отказав Арезки, я испытала несколько мгновений тщеславного удовлетворения. Сейчас я охотно взяла бы свое «нет» обратно. Это вы подсказали его мне. Я боюсь вас. Но горячий чай, прикосновение его руки в минуту прощания и наша прогулка во мраке — от этого я ни за что не откажусь.

Завтра они скажут обо мне: «Она гуляет с алжирцами». При этих словах воображению рисовались жалкие трущобы, где женщина переходит из одних объятий в другие.

— Осталось всего две!

Маленький Марокканец сказал это с облегчением. А мне стало грустно, передо мной разверзлась пустота.

Появилась последняя машина. Из нее вылез Арезки.

— Отметьте: пластик разорван. Я слишком сильно натянул, ставя зеркало.

— Я все уладила, я отменила свидание с братом, и мы можем встретиться.

— А?

Он был поражен. Я так быстро все пробормотала, что не была уверена, слышал ли он.

К нам подошли Мадьяр, Мюстафа и маленький Марокканец. Арезки торопливо втолкнул меня в машину.

— Слушай меня хорошо. Поедешь до Сталинграда. Жди меня, не уходя с платформы.

Разверни перед собой газету и читай ее. Если выйдет кто-нибудь из заводских, он тебя не заметит.

Я выполнила его инструкции. Он подошел ко мне на платформе станции Сталинград, где я пряталась за высокими листами газеты. Это рассмешило его. Он постучал пальцем по бумаге и сказал, что мы поедем к Терн.

— Это неподалеку от площади Этуаль. Я думаю, там подходящий район.

Арезки был тщательно одет. Белая рубашка, галстук, прикрытый шарфом. Коричневый костюм, лоснившийся от долгой носки, был безукоризненно чист.

Наконец я увидела ночной Париж, Париж почтовых открыток и календарей.

— Тебе нравится?

Арезки забавлялся. Он предложил пойти до площади Этуаль, а потом вернуться по другой стороне. Здесь легко было слиться с толпой, превратившись в элемент декорации. Считать, что ты на своем месте в этом прекрасном городе, быть его частью, быть как все.

Довольно долго мы обсуждали несчастный случай с Мадьяром. Мы оба мерзли. Арезки поглядывал на кафе. «Он наверняка боится, что тут слишком дорого. Получка через три дня, он, должно быть, как и я, почти без копейки».

На обратном спуске к Терн он сказал мне: «Ты озябла», — и мы зашли в кафе с обогретой террасой. Однако он предпочел пройти внутрь, выбрал два места и заказал чай. Все было как обычно. Соседи несколько минут молча разглядывали нас, их мысли не составляли секрета. Я пыталась убедить себя: «Это же Париж, город изгнанников и беглецов со всего мира! У нас тысяча девяносто пятьдесят седьмой год. Неужели я потеряю самообладание из-за чьих-то косых взглядов? Здесь, в богатых кварталах, наше появление скандально. Можно ли обижаться на этих людей?»

«...Куда только смотрит полиция? Терпеть, чтоб один из этих субъектов сидел бок о бок с вами, в пристойном месте, где у вас назначено свидание с красивой женщиной, которую вы собираетесь проводить домой в собственной машине, оставленной неподалеку. Видеть араба с французенкой! Французенка!.. Какая-нибудь прислуга, конечно... — А мы ведь воюем с ними... Куда смотрит полиция? Нет, мы вовсе не хотим, чтоб они страдали, мы гуманны. Но существуют лагеря, резервации, куда можно их отправить. О-ЧИС-ТИТЬ Париж. Не исключено, что у этого типа в кармане оружие. Они все вооружены...»

Это читалось в каждом взгляде. Чай утратил волнующий аромат, которым я наслаждалась в раздевалке. Он показался мне безвкусным. Я заметила нетерпение Арезки. Он сделал мне знак, мы вышли. Впоследствии я поняла, что он относился с подозрением, часто безоснова-

тельным, ко всем, кто смотрел на него. Он повсюду видел полицию и боялся провокаций.

В густом мраке поперечных улиц, по которым мы шли, я расхрабрилась. Мы шагали не спеша, несколько скованные холодом. Арезки утратил тягостную сдержанность первых вечеров.

За окном, на первом этаже углового дома, мы увидели кота, глядевшего на улицу. Арезки засмеялся.

— Все коты любят сидеть на окнах. Когда я еще жил дома, у нас был кот. Я обожал его, но он всегда удирает от меня. Я до сих пор не понимаю, чем он жил, — никаких объедков в доме не оставалось.

— Ну что я могу тебе рассказать? — сказал он, когда я стала расспрашивать его о детстве. — Нищета, нищета, нищета.

У него был брат, разбитной и крепкий, который уехал в Алжир и там работал сначала мальчиком в банях, потом докером, торговцем лепешками. В тринадцать лет Арезки перебрался к нему и тоже стал мальчиком в банях. Там и ночевал. Некоторое время он работал носильщиком, но, благодаря брату, никогда не голодал. В банях он познакомился с одним соотечественником, молодым буржуа, который продал все, что у него было, и передал деньги партии, в то время еще нелегальной. Этот человек заметил огонек, горевший в глазах Арезки, заметил и поддержал. С этого момента стремление понять, узнать толкало Арезки к книгам, он стал много, хотя и бессистемно, читать. Сначала брат поощрял его, потом, после ссоры, отправил обратно в деревню. Позднее была Франция, борьба за существование.

— Вот уже шесть лет, как я не возвращался домой.

Я молчала, я думала о письме Анны.

Арезки, смеясь, глядел на меня, точно дразил.

— Ну, если мы начнем рассказывать друг другу все наши горести...

— Наши, — сказала я, — несравнимы с вашими.

— Да, полагаю, что это так.

Помолчав недолго, он заговорил снова:

— Если все хранить в тайне, мы сможем видеться почти каждый вечер.

Я ничего не ответила, меня захлестнула радость. Мы долго бродили и вышли на небольшую площадь с огромной статуей. Я остановилась.

— Это Бальзак, — сказала я радостно, — я узнала его. Посмотрите. Халат и веревка. Вы знаете Бальзака? Любите?

— А ты знаешь Амрул'Кэза? Любишь? — язвительно ответил он.

Туман отделял маленькую площадь от города. Мне было хорошо, но казалось, что стоит покинуть площадь, и мое счастье растает.

— Пошли, — сказал Арезки. — Ты замерзнешь, не стой здесь.

Я не двигалась с места, улыбаясь смотрела на него. Он притянул меня к себе и поцеловал, слишком быстро, чтоб я почувствовала что-нибудь, кроме внезапной теплоты на озябшем лице.

Кто-то прорвал туман и прошел мимо нас звонким торопливым шагом.

— Как я люблю Париж...

— Я предпочел бы, чтоб ты сказала: как я люблю Арезки...

Голос был насмешливый. Он все еще держал меня за руки повыше локтя, мы оба рассмеялись. Я бросила взгляд на статую, я дрожала, но оттягивала уход.

— Ну, пошли.

— Куда?

— Я плохо соображаю, где мы. Там — Терн. Пошли, отыщем метро.

Я вздохнула: «уже». Он привлек меня к себе и стал снова целовать, горячее, чем первый раз. Из ханжества я подавила в себе ответный порыв. Он отпустил меня, взял за руку, и я с грустью сказала «прости» маленькой площади.

Только прикосновение его руки поддерживало меня.

Он непринужденно болтал, сравнивал климат различных городов, в которых ему довелось жить, но я догадывалась, что моя сдержанность его задела.

— Ты когда свободна? — спросил он.

Вопрос мне не понравился.

— Кто из нас двоих не свободен?

Я сказала это сухо. Он замедлил шаг, пронзил меня взглядом и жестко ответил:

— Я думал, ты умная женщина.

И, засунув руки в карманы, пошел дальше. Сбиваясь с ноги, я брела рядом, не зная, что сказать.

— Как холодно, как холодно.

Я надеялась, что он возьмет меня под руку.

Он иронически улыбнулся:

— Как холодно, да, холодно. Нечего было уходить из кафе. Но в кафе, когда ты с арабом... не очень удобно. Люди смотрят на тебя. Темные улочки укромней.

— Вы зря теряете время. — На этот раз я была довольна своим тоном. — Вы говорите о ком-то другом, то, что вы сказали, меня не касается, вам отлично известно.

Ему понравилось, что я рассердилась. Мы проходили мимо обувного магазина, и неон витрины отбрасывал на наши лица переливы света. Арезки оттаял, я снова оказалась в его объятиях.

Те несколько секунд, что длилось это теплое и сладкое прикосновение, мой разум существовал отдельно, страхась, что как-нибудь вечером Арезки может вот так расцеловать меня на людях.

— Не говори никому, что мы бываем вместе. Завтра вечером жди, как сегодня, на станции Сталинград, с газетой.

Мы собирались пересечь улицу, чтоб войти в метро, когда Арезки оттянул меня назад.

— Подожди.

Он отступил в тень подворотни и внимательно поглядел на трех мужчин, расхаживавших взад-вперед перед лестницей.

— Расстанемся здесь, — сказал Арезки. — До завтра, иди быстрее.

— Но почему? А вы?

Он заверил меня, что все в порядке, но что нам следует расстаться, — казалось, он терял терпение. Я не настаивала. Он глядел сквозь меня. Я покинула его и пересекла улицу. Проходя мимо троих мужчин, я замедлила шаг и оглядела их. Ничто в их поведении не выходило за рамки обычного. Они, казалось, ждали кого-то. Спустившись до середины лестницы, я остановилась и поднялась наверх, чтоб посмотреть, что с Арезки. Его высокий силуэт удалялся по улице налево. Один из мужчин, стоявших у входа, окинул меня беглым взглядом и возобновил свое топтание вдоль балюстрады, утратив ко мне интерес.

Я вернулась в свою комнату около одиннадцати. Поужинала фруктами и долго торчала перед зеркалом, висевшим над раковиной. Я искала перемен на своем лице, но их не было.

Арезки, встретившись со мной на станции Сталинград, заявил, что к Терн мы не поедem, там опасно.

— Поедем... в Трокадеро.

Мы поехали в Трокадеро. Мы вернулись туда еще раз, на следующий день. Мы гуляли по садам, где изморозь и туман воздвигли вокруг нас защитные стены.

Мы посетили площадь Оперы и несколько раз обошли кругом театра.

Мы пересекали мосты.

Мы запутались в улочках квартала Сен-Поль.

Мы кружили по бульварам вокруг церкви Сент-Огюстена.

Выйдя на станции Вожирар, добирались до Отейских ворот.

Улицу Риволи мы прошли от начала до конца и обратно.

И бульвар Вольтер, и бульвар дю Тампль, и переулочки за Пале-Руаяль. И Трините, и Рю-Лафайет.

Почти никогда мы не возвращались дважды в один и тот же район. Было достаточно пустыка, сборища зевак, тени полицейской машины, прохожего, увязавшегося за нами, и прогулка обрывалась. Мы тут же расставались, приходилось возвращаться порознь. Эти незавершенные вечера, прерванные разговоры, тревога — покинуть его и уйти, не зная, ждать до утра, чтоб удостовериться, что не произошло ничего страшного, — бесконечно привязали меня к нему, в полном соответствии с банальным правилом: особенно ценишь то, что от тебя ускользает.

Он повсюду подозревал полицию. Я думала, что он преувеличивает. Я возражала, когда он говорил мне:

— Видишь, вон там, перед витриной, это топтун. Не веришь? Я ручаюсь.

— Допустим, но что тебе?

Мы шли дальше.

Облавы случались часто. Арезки опасался их.

— Но раз у вас документы в порядке...

— Думаешь, они смотрят на это?

И на следующий вечер мы меняли округ. Я перестала задавать вопросы, ни о чем не спрашивала. Шло время, мы встречались почти ежедневно. Я пыталась перейти с ним на «ты», так как «вы» его сердило. Мне нравилось его слушать. Язык его мягко раскатывал «р». Мы переходили от серьезного к смешному, подшучивали над товарищами по конвейеру. Я рассказывала ему о юности Люсьена, много говорила о бабушке. Он привык к ней, знал все ее странности, словечки, причуды. Мюстафа, бабушка, Люсьен, все эти персонажи, составлявшие наш мир, помогали нам познавать друг друга. Из стыдливости мы пользовались ими, чтоб говорить о себе.

В тот вечер, когда мы гуляли по парку Трокадеро и когда, выбрав темное место, он начал страстно целовать меня, я, напичканная прописными истинами, решила: ну вот, теперь он поведет меня к себе. Но этого не произошло. Наше согласие было чудом. Любой другой на его месте оказался бы нетерпеливее, смелее. Он проявлял сдержанность, и не только потому, что обстоятельства не благоприятствовали стремительному развитию наших отношений — ему доставляло удовольствие не торопить события.

Мы долго присматривались друг к другу со все возрастающей нежностью. На людях мы предавались игре в безразличие, когда малейшее движение, взмах ресниц, интонация приобретают огромное значение.

Каждый раз, расставаясь, Арезки напоминал мне о необходимости держать все в секрете, меня это несколько раздражало. Однако на самом деле такое положение вполне меня устраивало.

Шел дождь, подмораживало, мы шагали. Париж был бесконечным бульваром, таившим ловушки, мы двигались по нему, принимая нелепые предосторожности. Нежность разукрашивала декорации наших прогулок. Все казалось прекрасным. Дождь начинал до блеска мостовые, и одинокий огонек тупика дробился в них на тысячи переливающихся драгоценностей. Скверы приобретали прелесть провинциальных площадей, развалившиеся сараи казались старыми заброшенными мельницами. Наше счастье преобразовало Париж.

В те вечера, когда он не мог со мной встретиться, я восстанавливала силы, я бросалась на кровать и нередко засыпала одетая.

Сдержанность, которую я тщетно пыталась преодолеть, иногда сердила его. И, боясь, чтоб он не истолковал эту непреодолимую стыдливость, как отращивание, продиктованное расизмом, я наперекор себе шла на поступки, по моим представлениям, вызывающе-смелые, тогда как на самом деле они были всего лишь естественны.

Оба самоучки, мы взаимно обогащали друг друга. Он увлеклся географией и сам недоумевал, откуда у него эта страсть.

Когда я чересчур много говорила о Люсьене, он переставал меня слушать. Это огорчало меня. Однажды, когда я вспомнила Мадьяра, он сказал мне мягко: «Оставь Мадьяра в покое и не слишком улыбайся ему».

Два или три раза я задавала нескромные вопросы, он не рассердился, но ушел от ответа. Я смирилась с тем, что буду знать о нем только то, что он сам пожелает рассказать. Мы редко говорили о войне, от нее и так нельзя было никуда уйти, она напоминала о себе взглядами прохожих, газетными киосками, провалами метро, ибо мы никогда не могли быть уверены, что на завтра увидимся. Мы говорили о конвейере. Арезки признался, что адский гул и скрежет в цеху действует на него возбуждающе, так же как шум бульваров. От тишины и покоя в нем просыпались страхи.

Он многое прощал Мюстафе и объяснил мне, опираясь на собственный опыт, почему тот так ведет себя на заводе по отношению к женщинам.

— Когда я начал работать в Париже, — говорил он, — у меня в глазах темнело, голова шла кругом. Здесь у девушек соблазнительные тела. Они влекут больше, чем наши женщины, по причинам... к красоте отношения не имеющих. Я обезумел от их присутствия. Я смотрел в землю, чтобы не видеть, как они двигаются, нагибаются. Там, дома, мы женщин почти не видим, здесь они — совсем рядом, только протяни руку. Представляешь, что это значит для Мюстафы, приехавшего из горной глуши...

— И многих из этих прекрасных женщин вы любили?

Когда я переходила на «вы», он понимал, что я не в своей тарелке.

Иногда он посмеивался:

— Кто из нас двоих слабо развит?

Шли дни. Наступили рождественские праздники. Но я не радовалась. Рождество стало тяжелым днем — днем без Арезки. По праздникам и по воскресеньям он всегда был занят. Неделя распалась на четыре прекрасных дня и три серых.

Я откладывала срок отъезда, отделяясь от бабушки ослепительными выдумками.

Непрочное равновесие рухнуло по вине Люсьена и Мюстафы.

Накануне Арезки сказал:

— Завтра поедem на бульвар Сен-Мишель. Во-первых, ты там еще не была, во-вторых, все

наши места ненадежны. Уверю тебя, тут полно полиции. Заметила ты субъекта, который поднялся, едва мы сели рядом? Значит, помни. Будешь меня ждать на станции Шатле. Шатле, как обычно, на платформе.

На следующее утро я пришла в тридцать четыре минуты восьмого, вместо половины, и сторож мне сказал: «Поздно, карточки уже собраны. Возвращайтесь отметить в восемь, вместе с конторскими».

Сначала это меня позабавило, я представляла себе удивление Арезки, его тревогу. Войду в восемь и увижу, как он отреагирует. Увлеченная этой детской игрой, я отправилась погулять вокруг завода. Я пошла взглянуть на окна нашего цеха с бульвара Массена. Я воображала Бернье, чертыхающегося, так как ему пришлось заменить меня. Отсутствие превращало меня в важную персону — все думали: что с ней случилось?

Но радость была недолгой. Глядя на окрашенные белым окна третьего этажа, я вдруг ощутила пронзительный страх, необъяснимое, нетерпеливое желание быть уже там, наверху. Я возобновила свою медленную прогулку вокруг завода. «Это боязнь, что придется одной идти через весь цех; это — утренняя прохлада; это — пустой желудок». Это был страх, тот самый страх, который бьет в живот глухими толчками, заставляя то и дело глотать слюну. Мрачные картины вставали передо мной при виде высоких почерневших стен, при виде решетки, отделявшей меня от Арезки, и шутка, которую я невольно разыгрывала, уже не вызывала у меня улыбки.

Я вошла в цех и пробралась к конвейеру. Мужчины, привыкшие к моему присутствию, больше не обращали на меня внимания. На ходу я окинула взором общую картину цеха, заметила Мюстафу, говорившего что-то маленькому Марокканцу, подняв вверх руки.

Арезки увидел меня. Он вылезал из машины, прижимая к себе инструменты. Поставив их в кузов, на пол, он сделал движение ко мне, но ограничился приветственным кивком головы.

Бернье поставил на мое место Доба, встретившего меня холодным «а, пришли».

— Меня уже не пропустили, — крикнула я ему.

— Ясно, — сказал он без улыбки. — Надо пораньше ложиться, чтоб вставать вовремя.

Потом он спустился с транспортера и направился к пюпитру Бернье.

Я улыбнулась и поспешила включиться в работу. Мне казалось, что все глаза устремлены на меня. Нарушив все свои принципы, Арезки ждал меня в очередной машине.

— Что случилось?

Он задал вопрос, не глядя, продолжая закручивать болты.

— Ничего. Опоздала.

— Сегодня вечером поторопись на выходе. Ты помнишь? Шатле. У меня мало времени, а мне необходимо с тобой поговорить. Никого не слушай, пока я не поговорю с тобой.

Внешне день проходил как обычно. Арезки старался работать возможно дальше от меня. Механизм жестов действовал безотказно. Но что-то новое появилось во взглядах Мюстафы и маленького Марокканца, в настойчивом, пристальном взгляде Бернье. Что-то переменялось.

В обеденный перерыв, когда мы спускались по лестнице, Арезки случайно оказался передо мной. Доба, быстро сбегавший вниз, посмотрел на меня в тот момент, когда кто-то из спешивших толкнул меня вперед, и я оперлась рукой о спину Арезки.

Я остановилась перед женской раздевалкой и, машинально подняв голову, увидела Люсьена. Он шел медленно, бледный и напряженно-прямой, точно пьяный. Волосы на висках побелели и слиплись от краски. В выражении застывшего лица, в неподвижном взгляде была тупость. Этот распад, проступивший в чертах, которые я так любила, к которым всегда так жадно присматривалась, меня потряс. Я подождала Люсьена, чтоб перекинуться несколькими словами.

— А, — сказал он, — ты здесь? Что с тобой случилось?

И он тоже! Я спросила его, откуда он знает.

— Я утром спустился осмотреть один кузов. Мне сказали, что я там схалтурил. Бернье остановил меня и спросил, не знаю ли я, почему тебя нет. Я не знал. Сказал нет, не знаю. Мы пошли вместе осмотреть кузов. Там работал Арезки. Я спросил его, была ли ты здорова вчера вечером, когда вы расстались.

Я глядела на него, не веря своим ушам.

— Ты спросил его об этом? В присутствии Бернье?

— Да, в присутствии Бернье. Почему бы нет?

— И он ответил?

— Пробормотал что-то.

— А Бернье?

— Что Бернье?.. Он ничего не сказал. Другие тоже. Они, возможно, не слышали.

— Кто другие?

— Вот пристала! Маленький Мюстафа, Доба, кажется, еще кто-то.

Я была сражена. Люсьен удивился. Почему мы должны прятаться? — спросил он. Или мне стыдно? Страшно?

— У тебя такой вид, точно земля разверзлась. Я не понимаю, я же видел вас несколько раз вместе, вечером, в автобусе. Так или нет?

— Ты поступил очень глупо, в особенности по отношению к Арезки.

— Ну, Арезки здесь ни при чем, ты думаешь о себе главным образом. Я тебя знаю.

Что делать, горю не поможешь. Когда влюбляешься в араба...

Он говорил слишком громко, с самодовольным видом. Действовал ли он необдуманно? А может, у него был коварный план загнать меня в угол, чтоб я бросила вызов общественному мнению, как это делал он сам. Может, видя, как я выхожу из автобуса вслед за Арезки, замечая, как мы, соблюдая все предосторожности, скрываемся в тихих улочках, за пеленой тумана и мрака, он считал, что мне не хватает отваги, достоинства, что нужно подтолкнуть меня? Не доставило ли ему удовольствие поставить в затруднительное положение ту, чьи осуждающие взгляды и выговоры он терпел долгие годы? Какой реванш!.. Должно быть, думает сейчас: я все-таки ее скомпрометировал. Он догадывался, насколько я растерянна, и глядел на меня холодно и насмешливо. Он-то сжег все мосты и умудрялся, куда бы он ни пошел, всех от себя оттолкнуть.

Объяснять бесполезно. Что теперь говорить — зло уже свершилось. К счастью, я увижу сегодня же вечером Арезки и мы сообщим все обсудим.

Я пристально наблюдала за женщинами, которые завтракали в раздевалке. Они обращали на меня не больше внимания, чем обычно. Я немного пришла в себя. Вернуться в цех, пройти перед Доба, Бернье, взглянуть в лицо Жиллю... Он, конечно, узнает. Все узнают. «Она гуляет с...». Мюстафа, Марокканец, не в них дело. Я боялась других.

Когда во второй половине дня длинный наладчик подошел поговорить со мной, я смутилась. Он спросил, как дела с обивкой. Я сказала, что хорошо, очень хорошо. Он был доволен и даже отпустил невинную шуточку, это меня успокоило. Он не знал. Я выслушала его профессиональные объяснения с интересом, ему польстившим... Я хотела заручиться его симпатией. Я, неведомо почему, ощущала себя виноватой, у меня было одно желание: выиграть время.

Я плюхнулась на скамью на платформе Шатле и стала ждать, мысли разбегались. Арезки опаздывал. С каждым прибывавшим поездом мое раздражение нарастало. Когда он подошел, я не могла преодолеть отчуждения. Моя холодность передалась ему. Мы вышли и оказались на мосту. Рельефно выступали суровые контуры зданий, по воде местами пробегала светлая дрожь. Арезки безмолвствовал, я не посмела сказать: «Остановимся на мгновение». Пустое небо над рекой рождало ощущение свободы, беспределности пространства.

— Знаешь этот дом?

Наконец-то он заговорил.

— Это префектура полиции. Сейчас мы обогнем ее по набережной.

Я сказала с деланной небрежностью:

— Люсьен сгупил утром.

Арезки взглянул на меня, казалось, он был удивлен.

— Кто тебе сказал?

— Он сам.

— Зачем он это сделал?

— В этом весь Люсьен. Ляпнул, не подумав.

— Да.

Но он был по-прежнему хмур, и я не отступалась.

— Это серьезно?

— Серьезно! — сказал он. — Ерунда. Только вот для тебя. Немного для меня, но, главное, для тебя.

— Меня это не трогает.

Я выкрикнула это. Сейчас это так. Меня обволакивает мягкое тепло, этого мне достаточно. Анна очень точно выразила это, когда писала брату: «С вами я ощущаю себя». И я в этот вечер ощущаю себя, ощущаю город. Город существует независимо от Арезки, но я ощущаю город через него.

Дождь множит миражи.

— Надень шарф, вымокнешь.

Мне приятно, что он держит мою сумку, пока я завязываю концы платка под подбородком, мы снова трогаемся.

— Что тут поделаешь? Для нас обоих было бы лучше, чтоб все оставалось в тайне. Теперь мы натерпимся от них, ты в особенности. А, пустяк. Но ты из-за этого не изменишь ко мне отношения?

В моем смехе уверенность.

— Если бы я не был эгоистом, я посоветовал бы тебе уйти с завода, поступить на другую работу. Но мне нравится видеть тебя рядом, особенно по утрам: я вхожу, высматриваю тебя, нахожу. В конце концов... Ладно, поживем — увидим.

— Тебе здесь нравится, — заговаривает он снова. — Я так и думал. Я тоже люблю эти места, но это опасный квартал.

— Хотя здесь много твоих братьев.

— Никогда она не поймет, — вздыхает он. — Именно поэтому. Это квартал облав. К тому же не мой. Я живу около станции Крым. Раньше он называл станцию Жорес.

— Но сегодня мы на это наплюем. Пойдем выпьем что-нибудь.

Мы идем по средневековым улочкам. Радость на мгновение омрачается видениями, которые проходят передо мной: проезд Труа-Шанделье, наша дверь, клуб, бабушка, отыскивающая в темноте пустые ящики. Арезки обнимает меня, мы шагаем в ногу.

Бабушка, дверь, проезд — все исчезает.

— Нужно укрыться, сейчас пойдет дождь.

На левой стороне переулочка арабское кафе. Дверь приоткрыта. В кафе полно, шумно, играет музыка. Выходит мужчина, оглядывается кругом, заходит обратно, закрывает дверь.

— Сюда?

— Что ты, ни в коем случае! Я не из этого квартала. Они примут меня за шпика, стукача.

Мой платок соскользнул. Мы отступили в подворотню. Арезки, пусть капли стекают с твоих волос, не утирай щек. Ты поцеловал меня. Твоя куртка, о которую трется мое лицо, холодна. Меня опьяняет запах мокрой кожи. Льет вовсю. Дверь кафе открылась. До нас доносится музыка. Одна фраза повторяется, как припев: «Ана оунти», — Арезки переводит: «Ты и я», это по-египетски. Музыка гложет, дверь прикрыли. Арезки вздохнул. Я спросила: «Тебе холодно?»

— Нет, я подумал, что нам пора расстаться.

— Уже?

— Да, я должен рано быть дома.

Дождь стихает, мы снова шагаем. Мгновение счастья, чересчур краткое, падает, как картинка на дно коробки.

Бульвар Сен-Мишель для меня был символом. В устах Анри, Люсьена это название всегда звучало чарующе.

Разглядываю гуляющих. В тот вечер бульвар показался мне непохожим на легенду о нем. Было полно красивых девушек, они лили к витринам модных лавок, попадавших на каждом шагу. Выглядели девушки отнюдь не бедно. Правда, попадались среди них и фигуры, будто наряженные в театральные костюмы оборвышей. Подчеркнуто неряшливые и грязные, эти костюмы, однако, обтягивали там, где нужно, и подчеркивали как раз то, что требовалось.

Арезки дернул меня за рукав.

— Вон рубашка, видишь?

Он показал мне в витрине рубашку — белую, тисненую, шелковистую, дорогую.

— Хочу эту рубашку.

— Но, Арезки, она стоит недельного заработка.

— Ну и пусть... Я куплю ее в ближайшую полочку.

— Но в других магазинах есть тоже красивые, и намного дешевле.

— Это не то. Взгляни хорошенько. Такая рубашка на алжирце! Скажи, разве кто-нибудь может себе это представить?

Я заметила ему, что это просто упрямство.

— Во всяком случае, это не рубашка революционера.

— Уж конечно!

Еще несколько мгновений он мечтательно глядел на нее, потом сказал мне: «Пошли».

— Если бы я мог тебе объяснить это словами, чтоб ты поняла.

Мы переходили улицу, лавируя между машинами, и я ничего не ответила. На тротуаре он задержался и посмотрел на часы.

— У нас уже нет времени зайти куда-нибудь.

— Ну что ж, — сказала я покорно, — отложим на завтра.

— На послезавтра. Ой-ой, — прошептал он быстро, — оставь меня, иди вперед.

Я поколебалась. Он остановился, процедил сквозь зубы: «Живее». Мы приближались к перекрестку, где стояло несколько полицейских машин. Повернуть обратно уже не было возможности. Я подчинилась. Арезки сделал шаг влево, чтоб отстраниться от меня, и в этот момент его окликнули.

Я механически пересекла улицу. Когда я обернулась, его уже не было видно. Я не хотела уходить, не узнав, что произошло. Полицейские, рассыпавшись цепью вниз по улице, ловили всех проходивших арабов или смахивающих на арабов. Ночная жизнь на бульваре шла по-прежнему, студенты, подлинные и мнимые, фланировали, болтали.

Нужно было уходить. Увидеть Арезки не было надежды. Его, должно быть, захихнули в один из полицейских автобусов. Стоять неподвижно, прилепившись к витрине, значило только обратить на себя внимание.

На следующее утро Арезки на работу не пришел. Я мужественно проверяла машины. За моими движениями следили. Я решила подстеречь Люсьена в перерыв и все ему рассказать. Но он не показывался, а в столовую мне идти не захотелось.

В два часа, когда работа возобновилась после перерыва, Арезки был на месте. Его глаза сказали мне: «Да, это я. Терпение». Я почувствовала себя счастливой.

Арезки и Мюстафа ссорились. Арезки говорил приглушенным голосом, и, даже не понимая языка, я догадывалась, что он был в ярости. Бернье показался в задней рамке.

— Резки, — позвал он.

Тот обернулся.

— Почему не работал утром?

— Был болен.

— Опять?

Бернье влез в машину, присел и сказал, рассматривая потолок:

— Если бы ты не пришел после перерыва, я поручил бы мадемуазель выяснить, что с тобой.

Арезки положил инструменты.

— Почему мадемуазель? — спросил он у Бернье.

Он глядел на Бернье так злобно, что тот струсил и вылез, следом за ним вылез Арезки.

Мюстафа тоже вышел из машины и встал позади Арезки. Несколько секунд все трое наблюдали друг за другом, потом рабочие, проходившие к очередной машине, разделили их, и Бернье вернулся к своему попугаю.

Арезки знаком подозвал меня. Мы поднялись в пустую машину.

— Как ты? — спросила я торопливо.

— Ничего. Но они задержали меня до утра.

— Только для проверки документов?

— Ну да. Они уж если возьмут, держат всю ночь. Пойди, объясни это начальству. Ладно, слушай меня. Сегодня я не могу встретиться с

тобой. Завтра — праздник. Потом воскресенье. В понедельник вечером. Тебе нельзя позвонить? Если можно, напиши номер, положи его в коробку, я потом заберу.

Шел конвейер, шла жизнь, шла война, и, зажатые в эти железные клещи, мы пытались урвать мгновения покоя и радости.

— Веселого рождества! — пришел пожелать мне Жиль.

— Спасибо, мосье!

Он протянул мне конверт с посылочкой.

Я пытаюсь, но это мне не удается, описать, что происходит, когда появляется Жиль. Он распространяет вокруг себя желание работать, восстанавливает в людях чувство собственного достоинства, отнятое оупляющим движением конвейера и пренебрежением начальства. Требовательный и суровый, Жиль удивительно справедлив. Он слушает Саида с таким же интересом, как заведующего производством. Он питает не слабость к рабочим вообще, а уважение к каждому из них. Наконец, природа одарила его привлекательным лицом с правильными и энергичными чертами, выражающим прямооту, открытость, благородство.

В пять часов радость пробежала по конвейеру. «Еще час, товарищи, и отдых! Три дня. Сегодня ночью — сочельник. Заложим как следует, а завтра — повторим. В воскресенье будем набираться сил. А в понедельник... Но до понедельника целых три дня... От посылочки ничего не останется...»

— Собираетесь праздновать? — спросил меня Мюстафа.

— Я? Нет. А вы?

— Я, — сказал он, — не могу. У нас война, мадемуазель.

— И я тоже нет, не хочется что-то.

— Потом наверстаем! — крикнул он, спускаясь.

Он обернулся:

— ...если будем живы...

В раздевалке женщины шумно выражали радость. Мне не было обидно. Я даже не завидовала им. Они дорого платили за удовольствия, которые их ждали. Сейчас, веселые, смешливые, они были похожи на школьников, отпущенных на каникулы.

Парижское рождество — почти теплое, дождливое; непочтительные россыпи серпантина, петарды, профанирующие мистическую зарю. Я внезапно просыпаюсь. Это возвращаются навеселе те, кто отпраздновал рождество. Блаженно нежусь в постели. Лицо Арезки, как удар в сердце. Я познаю горечь неразделенного удовольствия. Но есть еще надежда, неистребимая надежда, и радость снова овладевает мной. Я думаю об Арезки, память подсказывает детали, образ, запечатлевшийся в моей душе.

Красивым его не назовешь, слово неподхо-

дящее. Он тощ, мускулатуры не видно, толстые вены на худых руках, тонкие пальцы, спокойная походка, шея зябко втянута в плечи. Как и все арабы — если они только не держатся преувеличенно прямо, — он сутулится и на ходу размахивает руками. Волосы, о которых он очень заботится, блестят, курчавясь на висках, вздымаются, удлинняя профиль. Я пытаюсь представить себе, каким станет его лицо к старости: проступит еще резче его мавританский облик, углубятся впадины, и надо ртом, по-прежнему красным, пройдет белая черта усом. Волчьи глаза, орлиный профиль. Нет, нет, лицо Арезки — лицо человеческое, подвижное, изменчивое, и даже гнев не разрушает его гармонии: удлинненные веки под стрелами бровей, слегка втянутые виски, узкий подбородок. Глаза черные. Бархат, уголь, агат. Злопамятен. Прощает нелегко. «Клянусь тебе» и «даю слово» так и пестрят в его речи. Арезки любит слово «брат», он говорит «наш народ». Впрочем, он выбирает выражения осторожно, точно придавая им магическую силу. О болезни упоминает с отвращением. Говорит «я плохо себя чувствую», не скажет «я болен» — слово может накликать беду. Одевается Арезки не для того, чтоб оградить себя от холода, он наряжается. Ему нравится пышность, яркость, бьющая в глаза. Одинокий, изолированный, когда он не с братьями, он ставит себя выше тех, кто его презирает. Он принял свою изоляцию, но его покорность обстоятельствам не имеет ничего общего с приниженностью. Он безудержный фантазер, красочные видения струятся под его веками, за молчаливостью, задумчивостью таятся яркие вымыслы, безумные мечты.

На второй день праздников одиночество начинает тяготить меня. Я колеблюсь, сомневаюсь и наконец принимаю решение. Нанесу визит Люсьену.

Сажусь в автобус, схожу у собора. Покупаю пирожные, те, которые Люсьен, как я знаю, любит. Странно, я больше не сержусь на него, мне необходимо удостовериться в нашей близости. Из-за Арезки. До двух часов шатаюсь возле собора с громоздким конусообразным пакетом в руках. Стучу в дверь, жду. Дверь открывается, Анна со стоном бросается в мои объятия, потом отступает, разочарованная. Она не ожидала увидеть меня.

— Простите, я думала, это Люсьен.

Она отворачивается, но я приметлива, от меня не скроешь припухлости век, покрасневшего от частого сморкания носа. Она делает вид, что одевается, и повертывается ко мне спиной. Но голос ее выдает: слышны слезы. Спрашиваю, скоро ли вернется Люсьен. С радостью жду момента, когда она вынуждена будет взглянуть мне в лицо. Не так давно я наслаждалась, видя, как гибнет Мари-Луиза. Продлить пытку? Сказать, что я остаюсь? Она стоит боком,

натягивает юбку. Острый угол локтя, когда она затягивает пояс, впадина живота, тощие бока, — мне становится жалко ее, я, как всегда, испытываю потребность заботиться, ухаживать, быть полезной, необходимой.

— Вам трудно, правда?

Сначала она не отвечает, я чувствую себя смешной, потом сдается.

— Трудно.

Она улыбается, чтоб смягчить признание, зрачки исчезают за набухшими слезами. Теперь она одета и поправляет постель. Она прикидывает, сомневается. Передам ли я Люсьену ее слова? Я помогаю ей, говорю о брате, о его работе, о заводе, о парилке, в которой он задыхается часами, о том, что ему необходимо отдохнуть, лучше питаться. Сначала она слушает меня внимательно, потом я чувствую, что ее интерес слабеет. Она устала на кровать и пытается в своих воспоминаниях почерпнуть уверенность, что Люсьен вернется. Все ее тело кричит о том, как она хочет его в эту минуту. Они переплетут объятия, все забудут. Единственная возможность почувствовать, что она существует. Мои аргументы кажутся ей нелепыми. Она считает, что я ничего не понимаю. Они поссорились. Он ушел ночью. Она ждет, она плачет. Ей не терпится остаться одной и снова плакать. Я ухожу, оставив на столе пирожные.

Машины и моторы спали три дня, но завелись с первого оборота. Нашим телам, чтоб раскачаться, понадобилось больше времени. Первая машина ушла недоделанной. Во второй не оказалось реборд. На третьей мы вошли в ритм.

Арезки поймал меня, когда я влезала в пустую машину.

— Как ты? — быстро сказал он. — До вечера?

Мгновенный обмен взглядами, три коротких слова, всего несколько секунд. Неподвижные как статуи, несомые транспортером, как плот океаном, мы были выброшены слишком далеко от наших обычных мест, чтоб это прошло незамеченным. Но Арезки был в превосходном настроении. Он не мешал Мюстафе жужжать вокруг него, засмеялся, когда Мадьяр продемонстрировал свой затылок, очищенный от сомнительных кудряшек, перекинулся двумя фразами с Жилем, пришедшим проверить обивку. Дважды он клал как бы невзначай свою руку на мою, прося прощения общинческой улыбкой.

Я успокоилась. Казалось, в поведении рабочих, которые нас окружали, ничто не изменилось. По-прежнему они выбивались из сил, чтоб выдержать темп. Премия плясала перед их взором, как морковка перед ослом. Прошел и вернулся Бернье, остановился, ушел и возвратился. Но это было в его привычке. Я заметила только, что Мюстафа болтал со мной менее охотно. Оставалось испытание в раздевалке. Никто не обратил на меня особого внимания.

Арезки украдкой уточнил: «Станция Крым вторая после Сталинграда...»

Он уже ждал, когда я вышла из последнего вагона.

— Ты здесь живешь?

Он заметил мою улыбку, засмеялся и сказал:

— Нет, я живу около Гут-д'Ор. На этот раз в самом деле. Ты не спрашиваешь, куда мы пойдем?

Я сказала, что мне все равно.

Мы пошли по тихой, почти безлюдной, слабо освещенной улице.

Огромная, бесконечно длинная, высокая стена, окружавшая какой-то завод, тянулась вдоль левого тротуара.

— Мюстафа наболтал лишнего, вроде твоего брата.

Я стала расспрашивать. Что сказал Мюстафа? Кому?

— Мюстафа живет на той же улице, что и я. Он разболтал в нашем квартале, да и на заводе тоже, поскольку Саид, тот, что на обивке, мне повторил его слова. Ну и ладно. Я чувствую почти облегчение. Я принял все меры предосторожности. Но теперь с этим покончено, и не о чем жалеть. Больше мы не станем прятаться. Только ты должна понять, что у меня есть... обязательства, я не всегда свободен. Я все обдумал. Нам нужно место, где мы наконец сможем остаться наедине. Что ты скажешь?

Я сделала вид, что плохо его поняла.

— Я хотел сказать, нам нужна комната.

И он продолжал:

— О Доме Женщины не может быть и речи. Я живу не один. Надо найти. Сейчас мы идем к моему дяде, он живет тут, на углу. Попробую его обработать. Поглядим.

— Я тоже зайду к нему?

— Ну да, теперь, дорогая моя Элиза, ты познакомишься с братьями.

Дом казался нежилым. Из-за стен не слышалось ни звука.

— Не мудрено, — сказал Арезки, — тут были склады завода, который напротив. Сейчас здесь всего три жильца. Дядя живет на самом верху.

На шестом этаже он постучал в единственную дверь. Никто не откликнулся. Он постучал еще раз, крикнул, назвал свое имя. Дверь открылась. Вышел низенький человечек, толстый, заросший. Он обрушил на Арезки поток радостных стонів и ввел нас в комнату. Он стал расспрашивать Арезки, указывая на меня, но тот остановил его.

— Она не понимает, говори по-французски. Знакомься, это Элиза.

Тот холодно поздоровался со мной и повернулся к племяннику.

— Садитесь.

Он указал на кровать. Она занимала большую часть комнаты. У нее были железные

спинки, выкрашенные в белый цвет, и тюфяк, настолько тонкий, что, садясь, я ощутила пружины. Крохотная комната выходила на крышу, железная задвижка форточки висела над головой старика.

На полу среди кастрюль и корзин стояла плитка с большим кофейником. Длинный шнур тянулся от нее к проводу, на котором висела лампочка, освещавшая эту мансарду.

Разговор между ними затянулся. Дядя невольно перешел на родной язык, Арезки тоже время от времени начинал говорить по-арабски. Потом он спохватывался и оборачивался ко мне.

— Извини нас, привычка.

Я осматривалась, представляла себе, как будет выглядеть мансарда, если ее отмыть и прибрать.

Они перебирали всех членов семьи.

Я терпеливо слушала.

— Он — двоюродный брат моей матери, — пояснил Арезки.

И снова они пустились в семейные истории, в которых я ничего не понимала.

— Поешьте со мной, — вдруг сказал дядя.

Не слушая отказов Арезки, он присел и вытащил из-под кровати круглый котелок, наполненный бобами.

— Погляди, все готово. Сейчас разогрею. Вы покушаете со мной.

Сверху плавало что-то красное.

— Это перец, — объяснил он мне. Он повернулся к Арезки и сказал ему несколько непонятных слов. Арезки расхохотался.

— Он говорит, что 'мясо' внизу. Нет, нет, нам пора уходить.

— Вы не уйдете, не поев, — упрямылся тот.

— А вино, — мягко сказал Арезки, — куда ты прячешь вино?

Дядя застыл с открытым ртом, с поднятой рукой. Седые, порыжевшие от табака усы, опускавшиеся домиком к углам рта, старили его памятое, морщинистое лицо, придавая ему печальный вид. Арезки хранил насмешливую улыбку.

— Ах, сын мой, — сказал старик.

Рука его упала. Теперь он держал котелок за ушки.

— Вы терзаете меня. Они явились вдвоем прошлым воскресеньем. Я им сказал, пусть так, бейте меня, можете меня прикончить, но без вина я не могу. Тридцать лет я работаю во Франции. Двадцать в литейном. Десять лет, как я ночной сторож. Я не могу не пить. Я заплачу штраф, если хотите, я буду платить каждую неделю. Но в моем возрасте не меняют привычек. Я буду платить.

Он повторил три раза: я буду платить.

— Ну, а они? — спросил Арезки.

— Они назначили штраф. И сказали: будешь платить, пока не перестанешь пить. Так тебе не на что будет покупать вино.

Он жалобно качал головой над котелком с бобами.

— Сделай что-нибудь. Ты можешь. Пойди к ним, объясни. Я ведь старик. Я не опасен.

— Где ты его прячешь?

Он поставил котелок, выпрямился и направился к плитке.

— В кофейнике. Хочешь выпить?

— Нет. А если они попросят у тебя чашку кофе?

— Я скажу: сейчас приготовлю вам свежий. И выйду помыть кофейник к раковине на пятом этаже. Они послушают тебя. Скажи им, что я буду платить штраф. В каждую получку. Только пусть оставят меня в покое. Я не делаю ничего плохого. Я совсем один, я не могу повредить революции.

— Революция, — сказал Арезки серьезно, — это бульдозер. Она все сметает.

Дядя налил себе вина и пил, вздыхая. Когда он поставил пустой стакан, Арезки попросил его:

— Дай нам кофе, настоящего.

Дядя тщательно перелил вино в кастрюльку, накрыл ее тарелкой и вышел.

— Ты не очень разочарована сегодняшним вечером?

Я успокоила Арезки. Он погладил меня по щеке.

Я выпила кофе без всякого удовольствия, но сказала, что он отличный.

— Он отвратителен, — оборвал Арезки. — Берегись, дядя: вино оставляет привкус. Теперь я хочу попросить тебя об одной услуге.

— Все, что тебе угодно.

Когда Арезки все объяснил, старик присвистнул. Они обменялись несколькими фразами и перешли на родной язык. Арезки настаивал. Тот отвечал неодобрительным ворчанием.

— В котором часу ты выходишь на работу?

— В десять.

— Мы сейчас уйдем. Подумай еще, я вернусь.

— Приходи пообедать!

— Посмотрим.

Они поцеловались четыре раза. Дядя открыл дверь, протянул мне пальцы, мы спустились. Арезки долго молчал, храня озабоченный вид. На мои вопросы он сначала отвечал рассеянно, потом вдруг вспыхнул. Дядя не хотел ни уступить комнату, ни предоставлять нам ее на время, ни поменаться с Арезки.

— Если бы я ему пообещал то, что он просит, он согласился бы.

— А зачем отказывать ему? Это старик.

— Ты находишь, что я суров? Существуют правила. Человек, который пьет, становится опасен. Он болтает. Когда ему нечего сказать, он болтает что попало. На него обращают внимание. И потом, раз есть правило, надо подчиняться. Вот перед тобой красный свет. Пе-

реходить запрещено. Мы у себя тоже зажигаем красный свет. Нам еще нужно всему учиться, мы работаем во мраке, как кроты... Ну ладно, забудь об этом. Пойдем поедим. Ничего не попишешь, поищем иной выход. У меня, глядя на бобы, разыгрался аппетит, но я боялся, что ты их не любишь. Тут рядом есть маленькое кафе, в котором можно поесть. Хозяин из наших мест. Ты не боишься идти к бико?

Я недовольно остановилась. Он сделал вид, что удивлен.

— Обиделась? Пойдем, пойдем. Я голоден, а ты замерзла.

На перекрестке, перед тем как перейти улицу, он задержал меня:

— Нужно найти комнату. Поскорее. Спроси у брата, поищи сама. Невозможно больше проводить ночи на улице.

Я ни о чем не спросила брата. Но я страстно мечтала, чтоб Арезки что-нибудь нашел.

Три дня мы не встречались. Он проскальзывал мимо меня, и как только видел, что я одна, шептал на ходу: «Не сегодня, я занят. Подумала ли ты о том, что я тебе сказал?»

Бернье следил за мной. Я тщетно пыталась передать Арезки записку. Бернье был вездесущ. Он рыскал около конвейера, внезапно просовывал свою улыбающуюся физиономию в заднюю рамку, казалось, поставив перед собой задачу поймать меня на каком-нибудь промахе. Он придирался ко мне, не спуская ни малейшей ошибки. Начальство — от начальника цеха до Жилия, от начальника производства до заведующего складом — цеплялось по прежнему к Бернье, все ему непрерывно делали замечания, выражали недовольство, предъявляли требования. Жилье, единственный из всех, иногда снисходил до советов, не ограничиваясь критикой. Но узколобому и мелочному Бернье советы не шли на пользу, он только досадовал на мастера. Свою злобу он вымещал на нас, лаясь по каждому поводу. Мы относились к этому равнодушно, отмалчивались или вяло огрызались, но внимания не обращали. Он мог командовать нами только потому, кто располагал правом лишать нас премии. Какая радость быть взрослым, даже пожилым человеком, если ты низведен до положения ребенка, который никогда не может быть уверен, что получит награду?

Я не обладала ни уверенностью в себе, ни соответствующим лексиконом, чтоб отшить Бернье. Он вымещал на мне досаду, накопившуюся против Арезки. Он метил не только в него, — в лице Арезки для него объединялись все эти кружя, которые ничуть его не боялись, вынуждали бегать с одного конца конвейера на другой и получать за них выговоры от начальства. Ему хотелось бы через меня унижить, задеть Арезки, немногословного, смотревшего на него иронически, умевшего подчинить себе Мюстафу, Саида и всех остальных.

Я солгала, когда Арезки спросил меня, говорила ли я Люсьену о комнате.

— У него нет ничего на примете. Он подумает и скажет мне.

Я не видела Люсьена несколько дней. Он не избегал меня, это я уклонялась от встреч.

И снова мы с Арезки бродили по улице, неся в себе свои желания и надежды.

— Комната, где ты сможешь спокойно ждать меня! Тебе бы хотелось ее иметь? Если ты не хочешь, скажи сразу, не заставляй меня мечтать напрасно.

— А ты? Тебе ничто не мешает?

— Я уже сказал тебе, я предпочел бы, чтоб все осталось в тайне. Но теперь надо стараться выпутаться из этого положения наилучшим образом.

— Из-за твоих... Из-за этих самых обязательств, да?..

Я запнулась, не окончив фразы. Он улыбнулся, не глядя на меня, не отвечая. Мы молчали мимо безмолвных свидетелей, которых я никогда не забуду: булочной, приоткрытых ворот, зарешеченных окон, длинного облупленного фасада, мимо цинковой трубы, по которой струилась вода, расцветившая стену плесенью, мимо быстро с матовыми стеклами и стершимися плитами у входа. Эти камни, вывески, решетки, этот изъеденный асфальт навсегда окрасятся для меня горьким чувством. Подлинных причин которого я так и не знаю: то ли оно вызвано их уродством, то ли невозможностью быть честной с Арезки. Противоречивые желания швыряли меня из стороны в сторону, вынуждая скрытничать. Он горячо сжимал мою руку и порой подносил ее к губам. Он нежно склонился ко мне. Он серьезно беседовал со мной и столь же серьезно выслушивал меня. И я отметала сомнения. Препятствия казались увлекательной игрой, я внутренне собиралась с силами; моя жизнь обрела смысл. Но через все щели моей натуры пробирался страх, неуверенность, всевозможные предлоги, отдалявшие героическое решение. Потому что решение было именно героическим. И для него тоже, но он мне этого никогда не говорил.

На заводе мы были по-прежнему сдержанны. Иногда только Арезки предупреждал меня в нескольких словах о наших вечерних планах. Я коротко отвечала. Мы теперь чаще переглядывались или, работая в одной машине, касались друг друга. Расставаясь со мной вечером, Арезки дважды повторил:

— Нам нужна комната.

Я лихорадочно твердила, да, я поищу, я подтолкну Люсьена, повидая его друга Анри.

Но как только он покидал меня, я представляла себе горы, которые нам предстоит сдвинуть, — и это меня подавляло. Я вспоми-

нала Люсьена и Мари-Луизу, письмо Анны, гостиничные номера. Нам ничего не было дано. Мы должны были все вырвать сами.

— Хочешь в следующую субботу поехать со мной? Не испугаешься грязи, нищеты?

— Я хотела бы следовать за тобой повсюду, Арезки.

— Мы перекусим где-нибудь поблизости и поедем вместе в Нантерр. Мне нужно повидать друзей. Они меня ждут. Я не могу подвести.

Он представил меня: «Это — Элиза». Его ждали. Его обнимали. И началась нескончаемая беседа, прерываемая приходом соседа, приятеля. Они обнимались. «Это — Элиза». Я пожимала протянутую руку, вновь пришедший садился, разговор возобновлялся. Я не скучала. Не выходила из себя. Я наблюдала, думала. Мне было покойно от присутствия Арезки, от звуков любимого голоса.

Эти места, где в тесноте и скученности владели существование сотни людей, были с тех пор неоднократно описаны в газетах, очерках, репортажах; рассказывать об этом значило бы повторять те же слова, громоздить те же эпитеты: спертый воздух, физические страдания, болезни, нищета, холод, дождь, боязнь полиции, ветер, сотрясающий доски, лужи, подтекающие под дверь, темнота, жизнь в нечеловеческих условиях, боль, боль, боль повсюду. Но одно слово было здесь неведомо — «безнадежность». Все говорили: «настанет день», и никто не сомневался. Настоящее было борьбой за то, чтоб выжить. Некоторые умели устраиваться. Но большая часть, гонимая из дому страданиями, которые были стократ умножены войной, пыталась прокормить денежными переводами огромные семьи, умиравшие от голода. Они приезжали во Францию с высоких плоскогорий, из дальних кабилских дуаров. Тут для эмигранта, не знающего языка, не умеющего прочесть объявление, ошалевшего от шумов большого города, непрерывно допрашиваемого, обыскиваемого, проверяемого, подозреваемого, начиналась погоня за работой. А справа и слева, со всех сторон его манили со стен картинки, огни рекламы, эротические намеки афиш, кино.

Самым драгоценным документом, пропуском, охранной грамотой была платежная ведомость. Если ее не было, захлопывалась черная дверь полицейского фургона и начиналась нескончаемая пытка, допросы, избиения, отправка якобы к месту жительства, в родной дуар, а на самом деле в фильтрационный пункт, где фильтровали так умело, что большинство подозрительных оттуда не выбиралось вовсе.

— Меня злит, когда я вижу, как Мюстафа играет с огнем. Вот вышвырнут его за дверь, останется без работы, и его тотчас заметут.

— Но Доба обзывает его ратоном. Я сама

слышала. Как же ты хочешь, чтоб он держал себя в руках?

— В самом деле? Если он способен обижаться, значит, он ничего не понял. Нужно задубить шкуру, стать бесчувственным. Я, когда меня называют ратоном или бико, только улыбаюсь. Спроси брата, пусть объяснит тебе, он это делает лучше, мне не хватает точных слов.

— Ну, ты, — сказала я, желая пошутить, — ты вообще лишен недостатков.

И поскольку я действительно так думала, добавила:

— Ты пример для всех.

— Вот на это я могу рассердиться, — заметил он, — потому что я подумаю, что ты смеешься надо мной, а я этого не люблю. Я такой же, как все. Мне тоже хочется дать кое-кому в морду, мне тоже хочется выпить, когда тоска берет, я тоже пил тайком, чтоб забыться. И у меня возникало желание надуть казначея. И на собрание я иду не без страха. Мне хотелось бы провести воскресенье в постели, а не вставать в шесть часов, не бегать по своему кварталу, не отчитываться, не подчиняться. И некоторых братьев я терпеть не могу. Но это как любовь к женщине: стараешься понравиться, чаще бреешься, душишься, урываешь время от сна, чтоб с ней повидаться, говоришь нежности, носишь за ней пакеты, делаешь подарки. Только в нашем деле любовь должна быть еще сильнее, потому что цель иногда исчезает из виду и, бывает, думаешь, что никто не стоит твоих страданий. Мы далеко не святые. У каждого из нас есть свои личные недостатки и вдобавок пороки, которые порождаются подпольной борьбой и совместной жизнью. Мы ругаемся, злимся, мы помогаем друг другу, как люди, варящиеся в одном соку, лишённые возможности уединиться, мы спим бок о бок, моемся на людях. Есть среди нас весельчаки, честолюбцы, хитрецы, простаки, фанатики, негодяи, трусы. Люди. Чудо, что нам удается избежать взрыва этой гремучей смеси тысячи характеров, вынужденных сосуществовать и взаимоприспосабливаться.

Когда он умолк, один из мужчин встал, помешал в печке и зажег керосиновую лампу. В январе темнело к пяти часам.

— Оставайтесь поесть с нами, — предложил кто-то по-французски.

Нужно было принять приглашение.

Арезки посмотрел на меня. Он готов был уже отказаться, но, увидев знак, который я ему сделала, взглядом одобрил меня.

Хозяин расставил тарелки. Я удостоилась самой новой.

Арезки, прервав еду, сказал:

— Элиза с нами.

Один из мужчин скептически взглянул на него.

— Она с тобой.

— Нет, она и до меня была с нами.

Ощущая неловкость, я уставилась в тарелку.

— Много ли ты знаешь французов, которые с нами?

Арезки возразил, что все-таки такие есть.

— Рабочие?

— Немного, — согласился Арезки.

— Знаешь, почему они против войны? Она дорого стоит. Вовсе не из-за нас, не из-за наших ребят и жен. Война урезает их бифштекс.

— Они плохо информированы, — сказал Арезки.

Было уже поздно. Мягкие лучи керосиновой лампы падали на наши лица. Когда пламя колебалось, по щекам пробегали красивые тени. Задыхающееся тиканье будильника с этажерки, где в ряд стояли фотографии, казалось, поторапливало нас.

Пришлось пообещать, что мы еще вернемся. Выбравшись из дорожной грязи, мы смогли наконец обняться, поцеловаться, чувство неведомого до тех пор наслаждения пронзило меня. Арезки это заметил, его страсть удвоилась. Мы были не в силах опустить руки, разжать объятия.

— Нам нужна комната.

Теперь это произнесла я.

Без десяти. Я пришла слишком рано, многих рабочих еще не было. Доба ответил на мое приветствие кислой улыбкой. Наладчик, измеривший расстояние между двумя машинами, откровенно отвернулся. Я этого ждала, но ощутила неприятный укол. Я устроилась возле окна и вынула из кармана кроссворд, вырезанный накануне из газеты.

Брат часто подсмеивался над моим интересом к решению кроссвордов. А над чем только он не подсмеивался, если это касалось меня?

Звонок. Я убрала листок. «Волнуются под ветром». Из пяти букв. «Хлеба», конечно. Можно не записывать, я не забуду. Надо приступить к работе. Но картина волнующихся хлебов стоит перед глазами: золотые переливы, свежесть, простор. Мечты, подрывающие энергию.

Мюстафа сделал мне знак, за его спиной я увидела Арезки. Я осталась в машине.

— Не двигайся, — крикнул Арезки мне в ухо. — Не оборачивайся ко мне, Бернье идет следом.

Тот подошел, увидел, что я пишу, взглянул на Мюстафу, который с помощью Арезки расправлял складки обивки над дверцей, не остановился.

— Помнишь вчерашнее кафе? Найдешь его сама? Я буду там в восемь. Пойдем ко мне, никого не будет. Поняла?

Он высматривал меня в окно и вышел встретить. Кафе было в угловом доме по Рю-де-Крме.

— Да, мы идем ко мне, Рю-де-ла-Гут-д'Ор.

Гут-д'Ор. Золотая капля. Название сверкало. Но в темноте я не рассмотрела ничего, что отличало бы эту улицу от остальных.

— Мы сошли с ума. Я сошел с ума, — несколько раз сказал он.

Я шла за ним по коридору. Дважды он обернулся, чтоб предупредить меня о расшатавшейся или треснувшей плитке. У первых ступеней он взял меня за руку. Я покорно следовала за ним. Мне хотелось, чтоб лестнице не было конца, чтоб подъем длился вечно. Я боялась комнаты, минуты, когда захлопнется дверь, и мы окажемся на свету. Разве этот спокойный безмолвный подъем не самое прекрасное в любви? Арезки нетерпеливо тянул меня, ускоряя шаг, поднося к губам мои пальцы и покусывая их.

Он открыл дверь, и я вошла. Прошло несколько секунд, прежде чем он зажег свет, и я неподвижно стояла в темноте. Вспыхнула лампа. В комнате было две кровати, одна довольно широкая, другая раскладушка, в самом углу. Сколько человек тут спало? Большая кровать была покрыта куском яркой материи в круглых, редко разбросанных фиолетовых букетах, от нее исходил, наполняя комнату, запах свежего кретона. Материя хранила еще магазинную складку и жесткость нестираной ткани. Без сомнения, только что куплена. Куплена для меня. На столе, в правом углу, несколько коробок, стаканы. Я выглянула в окно.

Арезки подошел ко мне и взял за руки. Брови его сходились густой чертой над переносицей. Невеселый взгляд с мерцавшим в глубине зрачков отражением лампочки теперь не выражал желания. Казалось, мое присутствие вдруг стало ему в тягость. Он показал на окно без занавесей, без ставен.

— Погоди, — сказал он, — я потушу свет.

Огни домов на другой стороне улицы достаточно освещали комнату. В темноте я почувствовала себя не так неловко. Я различала более смуглую и блестящую кожу вокруг рта Арезки. Мне хотелось что-нибудь сказать, но я куда-то неслась, влекомая бурным водоворотом.

Арезки улыбнулся. Я чуть успокоилась. Он помог мне снять пальто, медленно сложил его, аккуратно повесил на единственный стул. Нам было некуда сесть, кроме кровати, кровати и огромных цветов. Он притянул меня к себе.

Цветы расплывались, стены падали, огни меркли. Он быстро говорил, произнося слова на своем резком языке. Сеть его нежности оплела меня. Мне хотелось, чтоб он опять кусал мои пальцы. Я одновременно думала о Люсьене и Анне и о том, что случилось со мной, и это было как вихрь внутри замкнутого круга. Вся моя жизнь — годы, месяцы, дни, те, что еще придут, и те, что уже прошли, — сжалась, сконцентрировалась в этом мгновении, оно стало в центр — светящаяся, сверкающая, слепящая, искрящаяся точка. Я отдалась объятиям Арез-

ки, прижав лицо к шершавой ткани его пиджака. Режущие слух звуки наполнили улицу. «Пожарные», — подумала я. Арезки не двигался. Машины, должно быть, мчались одна за другой, вой нарастал, тягостно длился и смолк под окном. Арезки отпустил меня. Я поняла. Полиция. Я начала дрожать. Я не боялась, но не могла унять дрожи. Я все дрожала, дрожала: сирены, тормоз, сухой щелчок дверец и холод — теперь я его ощутила — холод комнаты. Свет в доме напротив погас. Я не знала, что делать, лишившись внезапно его объятий. Он сунул в рот сигарету и протянул мне пальто.

— Держи, — сказал он, не глядя на меня, — одевайся и иди домой, как только путь окажется свободен.

Я отбросила пальто на другой конец комнаты. Гостиница безмолвствовала. Когда мы поднялись, где-то звучала пластинка: «Аид, Аид». Эта музыка обволакивала меня в объятиях Арезки. Теперь ее выключили. До нас доносились только свистки и голоса полицейских, повторявших команду. Они бегом поднимались по лестнице. Тяжелые шаги грохотали по ступеням. Вот они добрались до площадки. Остановились. Снова побежали. Почему Арезки не глядел на меня? Он курил. Закурил сигарету и положил почерневшую спичку на край стола. Он курил, внешне совершенно спокойный, точно ничего не понимал, не слышал. Они били кулаками в двери комнат. И ногами тоже, об этом можно было догадаться по силе ударов:

— Полиция!

— Полиция!

Я вся сжалась, не могла говорить. Во мраке, не шевелясь, я слушала и, как слепая, следила по звукам за ходом обыска. Теперь свистки раздавались внутри гостиницы. Кто-то прокричал приказ, и грохот шагов стал стремительно приближаться. Они уже были на нашем этаже, бежали к выходам. Голоса звучали странно, точно усиленные безмолвием гостиницы. Мощные фонари полицейских шарили по стенам, их лучи проникали даже к нам сквозь щели изношенных дверей. Один из полицейских, видно отставший, бегом догнал остальных.

— Все на ратонаду!¹ — сострил он.

Раздался хохот.

Хуже всего была тишина. Ни криков, ни жалоб, ни громкого голоса, никаких признаков борьбы. Полиция в пустом доме. Внезапно раздался грохот, потом глухой звук падения, стремительный топот. И опять тишина. На улице кто-то кричал.

— Живо, живо, живо!

Я сделала над собой усилие, встала, подошла к окну. Мужчин сажали в тюремную машину. Некоторым надели наручники. Они дви-

¹ Ратонада — травля алжирцев; неологизм от слова «ратон».

гались гуськом, кто-то чистил локти, поправлял брюки. Ночь была светлая, холодная, прозрачная. Фонарь около полицейского автобуса освещал силуэты, лиц я не различала, только продолговатые головы, черное руно шевелюр. «О племя с головами баранов, подобно им ведомое на бойню...» Когда-то, в пору ожиданий настоящей жизни, эти стихи нам читал Анри. Низкорослый мужчина, последний в очереди, замедлил шаг и стал шарить в кармане. Должно быть, кровь шла у него носом. Он откинул голову, утираясь рукавом. Один из полицейских это заметил, ринулся к нему, схватил за плечи и, обрушив на спину араба ливень ударов, толкнул к машине. Тот оступился, упал лицом на мостовую. Я отвернулась. Но сдвинуться с места не могла. Каждое движение казалось мне непристойным, но я была не в силах выдержать этот мрак, это безмолвие, этот едкий дым, поднимавшийся спиралью от сигареты Арезки. Почему Арезки молчал? Он не шевелился. Они уже дубасили в соседнюю дверь. По прихоти строителя, наша комната была задвинута в подобие коридорчика за уборной. Они должны были обойти всех, прежде чем доберутся до нас. Что они там делали? А те, другие, почему они не сопротивлялись? Не кричали? Сейчас сдвинусь с места. Подойду к Арезки, сяду рядом, возьму его за руку, уцеплюсь за него. Раздался крик, короткий, задуманный. Кто-то бежал к нашей двери. Знал ли спасавшийся, что все выходы преграждены? Казалось, он топтался на месте, тяжело и коротко дыша, его уже схватили. Я услышала звук падающего тела, восклицания, удары. Тело волочили по полу, швырнули на лестницу, оно покатилося, стуча о ступени. Раздалась музыка «Аид, Аид», удары в ладоши, голос безумевшей женщины, звон и грохот разбиваемого предмета — проигрывателя, должно быть.

Наш черед. Все произошло мгновенно. Арезки зажег свет, повернул ключ. Они вошли. Трое. Заметив меня, они присвистнули.

— Руки вверх. Алжирец, марокканец, тунисец?

— Алжирец.

Они обшарили его карманы, рукава.

— Документы, платежную ведомость. Последнюю.

— Она там, — сказал Арезки, указывая на бумажник.

— Раздевайся.

Арезки колебался. Они взглянули на меня.

— Часом раньше, часом позже, потом не придется. Живее.

Я не отвернулась. Я старалась не двигаться, глядя в стену над головой Арезки, как слепая, глаза которой смотрят в одну точку, не видя. Арезки опустил руки и начал стягивать пиджак. Я не хотела встречаться с ним взгля-

дом, мои глаза не должны были отрываться от стены над его головой.

— Ваши документы. Мадемуазель? Мадам?

Если бы я могла не дрожать. Чтоб дать им документы, мне пришлось взять с пола пальто, нагнуться, подняться, каждое движение причиняло боль.

— Вы не имеете права, — сказал Арезки. — У меня все в порядке, у меня нет оружия.

— Заткнись, братец, раздевайся. Уж не на свою ли полочку разнорабочего ты покупаешь такие рубашки?

На нем была белая, тисненая рубашка, та самая, с бульвара Сен-Мишель, я ее узнала. Мимо двери, раскрытой настежь, прошли двое полицейских. Они вели мужчину в наручниках, третий подталкивал его коленом под зад.

— Ну как вы там?

Тот, который произнес это, оперся о прилолку.

— Здесь женщина, — сказал полицейский, занимавшийся Арезки.

Стоявший у двери сурово поглядел на меня.

— И ты называешь это женщиной!..

Они вышли в коридор. Около Арезки остались двое полицейских, державших горизонтально свои автоматы.

— Сними рубашку!

Арезки подчинился.

— Ну, давай быстрее, брюки, я обыщу тебя!

— Вы уже обыскали.

— Руки вверх!

Одновременно тот, который стоял слева, направил на Арезки дуло автомата. Другой отстегнул пряжку ремня, и брюки соскользнули. Теперь на Арезки оставались только белые трусы. Это рассмешило полицейских.

— Стащи-ка это с него, бывает, они там прячут разные разности!

Он прижал отверстие автомата к животу Арезки. Второй кончиками пальцев потянул за резинку и спустил трусы.

— Как ты был одет, когда приехал во Францию? В тюрбане небось ходил? А под ним вши? Неплохо тебе здесь: ешь, покупаешь красивые рубашки, нравишься женщинам. Держи свои штаны, и желаю повеселиться.

Они вышли. Я смотрела на улицу, где малопомалу загорались она. Парижская казба¹ возвращалась к жизни. Я не отрывала глаз от туч, бежавших по небу. Предстояло самое трудное: посмотреть на Арезки. Наконец я обернулась. Сидя на кровати, он пил воду.

— Сейчас пойдешь домой, — сказал он сухо.

— Да, сейчас пойду. Я тоже хочу пить, — сказала я.

— Налей себе.

¹ Казба — туземные кварталы в горах Северной Африки.

Я подошла к нему. Какие найти слова? Мне хотелось бы знать его язык. Я встала на колени. У меня кружилась голова. Его руки лежали ладонями на фиолетовых цветах покрывала. Как два цветка. Блестящая бронза сжатых лепестков, раскрытые — матово-розовые. Я неловко взяла его руки в свои. Жесты любви были мне непривычны. Я наклонилась и поцеловала ладонь, теплую и мясистую, как грудь. Арезки не отнял рук. Я снова стала целовать его руки, уже не сдерживаясь, опьяненная запахом влажной кожи и сигареты, я кусала, целовала, кусала опять, я ласкала их языком. Арезки произнес слово, которого я не поняла. Я прижала его ладони к своему лицу.

— Иди домой, — повторил он, — тебе нужно идти домой.

— Что случилось, Люсьен? Мне передали, что ты дважды приходил ко мне.

— А тебя не было. И никто не знал, когда ты вернешься. С тобой хотел повидаться Анри. Для своего «очерка», ты ж понимаешь... Он проводит широкий опрос, и в его планы входит расспросить тебя. Тебя и... Арезки.

— Да, я вернулась довольно поздно. Я рада, что увидела тебя. Бабушка прислала письмо. Благодарит за рождественскую посылку. У нее была Мари-Луиза. Она живет у сестры, но не ладит с ней. Вот уж скоро год, как ты уехал, об остальном можешь легко догадаться.

Он утвердительно кивнул.

— Представляю. Но сейчас мне необходимо разрешить более насущные проблемы. Я много должен. Должен много денег.

— Потряси Анри!

Он пожал плечами и смерил меня взглядом.

— Анри не филантроп. Это будущий великий социолог. Он следит, как я иду ко дну, тщательно записывая все детали агонии. К тому же, как тебе отлично известно, он за то, чтоб перевернуть вверх дном все разом, а не за спасение утопающих в индивидуальном порядке. В чем я, впрочем, с ним согласен... Анри, Анри, — повторил он, уходя.

Я хотела догнать его. Но побоялась иронического взгляда, выкрика. Он убивал любой порыв. Даже в его физическом облике появилось нечто отталкивающее: что-то животное проступило в юношеских чертах лица, в жадном взгляде, в нервозности слишком подвижного рта. Поднимаясь по лестнице, я спрашивала себя, преобразается ли это лицо, когда Люсьен охвачен желанием, испытывает ли он подле Анны «минуты нежности», как она писала, или их любовь не знает ничего, кроме перехваченного страстью дыхания.

Но я была еще настолько во власти случившегося прошлой ночью, что не могла думать ни о чем, кроме себя самой. Одни понимают любовь так, другие — иначе, тут не решишь,

кто прав. Любовь Люсьена и Анны представлялась мне долгим стоном, яростной схваткой, взаимным истреблением и воскрешением, безумной игрой, которая их обособляла, осуждала на одиночество. Летучий корабль, никогда не пристающий к берегу. Я не пыталась выразить словами чувство, бросавшее меня к Арезки. Он мне не говорил: «Я тебя люблю», и я не говорила: «Я его люблю». Арезки существует. Арезки есть. Как некогда был Люсьен.

Три дня Арезки избегал меня. Но я не переживала. Я знала, должно пройти время — и тогда мы снова сможем свободно говорить о другом, не вспоминая о случившемся.

Мюстафа исподтишка наблюдал за мной, не вступая в разговор, и поскользну с Мадьяром он был в ссоре, иногда печально вздыхал. Приходили Доба с наладчиком, проверяли обивку. Они о чем-то расспрашивали меня, добродушно подшучивая, я воспряла духом и охотно отвечала им. Меня радовало, что я не оказалась в полной изоляции.

На станции Крым! Он сказал: на станции Крым, в семь часов...

Мы бредем по самым тихим улицам, по границам проклятого прямоугольника, в центре которого — Гут-д'Ор. Мы шагаем, осторожно обмениваясь словами, он решается первым:

— Ты испугалась?

— Да, за тебя.

Но это ложь. Я вру. Я испугалась, и сейчас, говоря об этом, я все еще испытываю страх. Ты, Люсьен, говорил: «Полиция... подумаешь!» Но я говорю: «Я испугалась». Никогда понятие силы не было для меня чем-то конкретным. Теперь это слово одето в темное, затянута в гетры, перепоясано ремнями. У него широкие плечи, мощные руки, большие автоматы. Нет никого сильнее полиции.

Мы заходим в одно кафе, в другое. Мы шагаем, разговариваем, поворачиваем, переходим на другую сторону.

— Поужинаем вместе, тут есть ресторан. Вернее, забегаловка, зато брат хозяина женат на моей сестре.

Знакомство: «Это — Элиза». У мужчины крупные, узловатые руки, длинное лицо, расчерченное, как домашний пирог, клетками морщин. Он вытягивает откуда-то из недр столик и обильно кормит нас. Мы не можем ни прикоснуться друг к другу, ни улыбнуться, но то, что мы вместе, действует умиротворяюще. Любопытные физиономии глядят на нас. Арезки сидит лицом к двери; когда она отворяется, я оборачиваюсь. Он просит меня не оборачиваться. Я говорю, что тревожусь о Люсьене. Но терзания Люсьена его не волнуют. Я излагаю ему бабушкино письмо, несчастная женщина плачет, что боится умереть в богадельне.

Он слушает.

— А если нам уехать туда? Будем жить вместе. Ты ее заберешь. Я буду работать. Я полюблю ее, она меня полюбит.

Я не говорю, что далеко не убеждена в этом. Араб... Пугало для бабушки.

— Разве ты можешь уехать отсюда? Разве ты свободен? Ты, вероятно, должен вести важную работу в Париже, на тебя возложена ответственность?

Он наклоняется и шепчет:

— Рискую разочаровать тебя, признаюсь, что я не более как рядовой. Все можно уладить. Пользу можно приносить повсюду. Что скажешь?

Я не говорю ничего. Меня раздражают сомнения.

Мы с братом оказываемся вместе в хвосте. поджидающем автобус в шесть сорок. Он издал кивает мне. Мари-Луиза прислала мне через бабушку письмо. Но в этот чистый, утренний час я не стану ни о чем ему говорить.

Мелькают площади. Автобус замедляет ход, зажатый потоком машин, выезжающих из Венсенского леса. Я протираю запотевшее стекло, к которому меня прижали. Над стадионом Шарон занимается день. В расплывающемся тумане мелькают синие костюмы парней, которые бегут по сырой дорожке. День занимается, их рты вдыхают чистый воздух, через все поры проникает радость нового утра. Напряженные мышцы, широкий шаг, они бегут, пока автобус мчится к мосту Насьональ. Солнце выплывает из-за вагонов, скопившихся в парке. День занимается над воротами Шуази, и другие парни бегут к раздевалкам, где они облакаются в синие замасленные спецовки.

Диди рассказывала в раздевалке, что в воскресенье была в Париже.

— Танцевала в зале Ваграм.

Некоторые слышали о Ваграме. Большинство никогда не выходило за пределы своего района. Они не знали своего города, ничего не знали о Париже. Толстуха, помощница кладовщика, сказала:

— А я вот уже пятнадцать лет не бывала дальше площади Италии.

Я хорошо знала, как незаметно проходит жизнь, когда пассивно отдаешься ее ходу. Но здесь, в Париже, со всеми его легендами о красном поясе и баррикадах, у меня возник вопрос: почему, отчего? Труд, усталость, нехватка времени. Но дело было не только в этом. Жизнь была придавлена возмутительной инертностью, едва ли не наследственной, каким-то стадным инстинктом. Досуг проводили в ближнем кино, в бистро на углу. Выбраться в люди значило иметь, владеть, приобрести мебель, машину, лет через двадцать — домик. Жизнь начиналась только после этого, человек ощущал себя равноправным членом общества.

Диди улыбнулась мне. Мы вместе вошли в цех, когда я добралась до своего места, она кинула мне «держись». Мужчины глядели на нее с жадностью. Она, не сморгнув, прошла сквозь ряды рабочих, стоявших у станков. Ей нравилось это мужское вождение, хотя внешне она и не реагировала на оклики и свистки.

— Ты спишь, — сказал, подойдя, Арезки. Веки мои были опущены, руки обмякли.

Я устала. Он помогал мне, указывая на брак, если замечал его раньше, чем я. Бернье, заинтересованный тем, что происходит, подошел четыре раза. Но ему не к чему было прицепиться, правил мы не нарушали.

— Сегодня ляжешь пораньше. Ты обдумала? Напишешь бабушке?

Я прокричала: «Да, я занимаюсь этим».

В начале 1958 года алжирцы в Париже были нежелательным элементом. Они жили точно приговоренные условно.

Аресты, безработица, неприязнь. Арезки ничем не возмущался.

— Это нормально, — говорил он. — Война.

И смеялся над моим негодованием. Он принимал свое положение парии. Иногда он рассказывал мне о страданиях, которые видел, о которых слышал. Однажды я упрекнула его в том, что его ничто не волнует.

— Народ потерял пятьсот тысяч. И это еще не конец! Ты способна растрогаться пятьсот тысяч раз?

Однажды в субботу мы опять поехали в Нантерр. На стуле, лицом к печке, сидел человек, которого в первый раз не было, старомодный двубортный костюм с широкими остроконечными лацканами, черный в узкую белую полоску, висел на его сухом сутулом теле. Арезки бросился к нему. Они долго целовались, издавая радостные возгласы, что-то бормотали и опять обнимались. Наконец Арезки вспомнил обо мне и произнес ритуальное: «Это — Элиза».

Человек, как он мне объяснил, приехал только сегодня из его собственной деревни.

— Си Асен, — сказал ему Арезки, — Элиза с нами. Когда все кончится, я отвезу ее посмотреть наши края.

Си Асен никак на это не отреагировал. Он равнодушно поглядел на меня и снова погрузился в бесконечный разговор с Арезки. Меня повергали в ужас эти дискуссии Арезки с его соплеменниками. Длинная нить беседы вилась часами, конца ей не предвиделось. На этот раз Арезки даже не просил Си Асена говорить по-французски. Неожиданно он поднялся и на несколько минут вышел, а когда вернулся, сказал почти весело:

— Не надо путать. Вовсе не все французы нас ненавидят. Даже там, дома, некоторые любят нас.

Глаза Си Асена, маленькие, окаймленные

черным, почти неподвижные, скользнули по мне. Он дважды прочистил горло, подбирая слова.

— Ты в это веришь?

— Это он сказал по-французски.

— Они любят Алжир, не алжирцев.

— Француз любит алжирца, как всадник...

— Свою лошадь, — закончил Арезки. —

Есть у нас такая поговорка.

Си Асен поднялся, взял со стола пакет, перевязанный веревочкой, и протянул Арезки. Тот осторожно развязал его и открыл. В белую тряпицу было завернуто несколько маленьких лепешек.

— Моя мать. Чтоб послать мне это, она сама недоедала.

Он роздал лепешки окружающим, и мы стали есть, пока хозяин готовил кофе.

— Она много страдала по нашей вине. Ее отец, муж, брат... да и я тоже.

— Они выгоняют нас, — сказал Си Асен, — всю деревню, в переселенческий центр.

— Очищают район! А это что?

В руках у Арезки была маленькая металлическая коробочка, тоже перехваченная веревкой. Си Асен улыбнулся. Арезки открыл ее. В ней была земля.

— Это твоя мать. Она сказала: пусть сохранит немного нашей земли, на ней росла мята.

Арезки наклонился, понюхал, потом, высыпав землю в руку, поднес ее ко рту и поцеловал. Но тотчас выпрямился и схватил кочергу.

— Я не буду хранить ее, у меня от этой дряни слезы наворачиваются.

Сняв круг, служивший заслонкой, он бросил землю в огонь. Пламя поникло, раздалось потрескивание, полетели искры.

Мы ушли, когда стемнело. Нам навстречу, делая зигзаги с одного тротуара на другой, двигался мужчина. Поравнявшись с нами, он оглядел Арезки и сказал, обращаясь к нему:

— Балак... вокзал.

Арезки остановился, взял меня за руку, и мы повернули обратно.

— Он сказал, осторожнее. На вокзале, очевидно, облава. Пошли, попытаемся поймать такси около автобусной станции. Я должен рано вернуться.

В такси он стал расспрашивать меня о бабушке. Я сказала, что написала, чтоб подготовить ее к мысли о нашем приезде. Нужно братья за это исподволь, чтоб не напугать ее.

— Я тебе рассказывала, как мы жили. Она привыкла считать, что я одинока.

— Делай как знаешь, но только делай. Здесь мы никогда не сможем жить вместе, если не случится какого-нибудь чуда. А тебе ведь хочется этого, правда?

Хотелось ли мне?! Каждый раз, когда нужно было расставаться, я принимала решение написать бабушке, потом я ставила это в зависимость от неосуществимого условия: накопить

денег. Или воображала, что откроюсь Люсьену. Но ему хватало собственных забот.

«Дорогая Элиза, — писала Мари-Луиза, — прошу вас сообщить мне адрес моего мужа. Я уехала от сестры и вернулась к родителям. Маленькая выросла, она красивая, похожа на отца. Я работаю, как раньше. Но это не жизнь. Я хочу видеть Люсьена. Ваша бабушка тоскует, она рассчитывает на вас, и я тоже. Надеюсь, вы сообщите мне его адрес».

Я несколько раз видела Люсьена, но ни слова не сказала ему о письме. Он был крайне возбужден и многословно объяснял мне, что «дело стронулось с мертвой точки». Адвокаты взывали к Международному Красному Кресту, полиция конфисковала матрицы книги, разоблачающей пытки, в связи с этим созданы комитеты. Когда я передавала его рассказы Арезки, тот отвечал: «Да, я знаю». Однажды я робко предложила ему использовать меня, если я могу чем-нибудь помочь.

Он улыбнулся и покачал головой.

— Не сейчас. Я буду думать, да и они тоже, что ты это делаешь только ради меня. А этого недостаточно. Тут даже Люсьен не справился бы. Вот Анри, да, ему бы я доверился. А твой брат... Для меня он вроде Мюстафы.

Я нашла несправедливым и скороспелым его суждение о Люсьене.

На следующий день после этого разговора Люсьен прочел в утренних газетах о бомбардировке Сакнета. В обеденный перерыв он отправился узнать новости и, воспользовавшись часом отдыха, подготовил своего рода резолюцию, которую прочел рабочим, толпившимся у входа. В ней говорилось о бомбах, убитых детях, насилии, совершаемом над страной, об усилении военных действий, страданиях народа.

Вскрабавшись на тумбу перед воротами завода, он увещевал подходивших, призывал всех рабочих ставить свои подписи под резолюцией, стыдил их за пассивность, обвинял в сообщничестве, заклинал, умолял, позорил, взывал к их чести, классовой солидарности, чувствовал, говорил об арестованных, пытаемых алжирских товарищах, о нищете и страхе, в котором живут дети, очевидцы войны.

Его слушала небольшая группка. Некоторые, поняв, что это не касается требований, затрагивающих их собственные интересы, отходили. Другие оставались. Один из тех, кто внимательно слушал, обратился к нему, когда он, совершенно охрипнув, кончил говорить.

— Скажи-ка, — крикнул рабочий, — кто ты такой, чтоб так с нами разговаривать? Не ты ли, случаем, тот самый тип, который бросил жену и ребенка, как говорят в бюро социальной помощи? Что ж ты нам мораль читаешь?

— Давай слезай, — сказал профорг, слушающий, стоя поодаль. — Не тебе этим заниматься! Кто тебе дал право? Кого ты представляешь?

Мне показалось, что Люсьен сейчас набросится на них с кулаками.

— Сдрейфили вы все, вот что, — огрызнулся Люсьен, спрыгивая с тумбы. — При чем тут моя личная жизнь?

— Очень даже при чем, старик!

К счастью, звонок заставил всех разойтись. Люсьен, оставшийся последним, закурил и направился к лестнице. Я догнала его. Мне было больно, хотелось обнять его, хотелось, чтоб Анна была рядом и могла его утешить.

Он обернулся, когда я дернула его за рукав.

— Мы опаздываем, — проворчал он.

— Кто-нибудь должен был им сказать. Ты правильно поступил.

— Правильно то, что приводит к успеху. Тот, кто бессилён, всегда не прав.

Заполняя анкету при поступлении на работу, Люсьен не преминул вписать в нее Мари. Должно быть, он добыл ее метрику и другие документы, поскольку Анна получала ежемесячно надбавку, причитающуюся Мари-Луизе.

Но контроль обнаружил жульничество.

Люсьена вызвали, он поклялся, что отсылает эти деньги жене.

Он нашел меня.

— Скажешь, что это ты пересылаешь деньги и что потеряла корешки квитанций.

— Не думаешь ли ты, что и Мари-Луиза это подтвердит?

— Да, если я напишу ей определенным образом. И потом, можешь ли ты вообразить Мари-Луизу, которая кляузничает, подает жалобу?

Я действительно не представляла себе ее в подобной роли. Полицейский комиссарнат или адвокат, прошение о разводе — все это были только угрозы.

— Ну и как ты думаешь из этого выпутаться?

Он пропустил мой вопрос мимо ушей. Как-то вечером я пришла к нему. Комната была завалена книгами. Я заметила на стуле новый электрофон и несколько аккуратно расставленных пластинок. Комната была погружена в полумрак, печальные углы ее как-то ступевались. Запах новых книг смешивался с ароматом кофе, пластинка, наигрывавшая под сурдинку, навевала мысли о журчании прозрачного родника по отполированной гальке. Анна, черно-белая в сумраке комнаты, опершись щекой о ладонь, следила глазами за игрой струй, и музыка окатывала ее своими сверкающими каплями.

Мы с Арезки продолжали регулярно встречаться. Мы гуляли, вместе ужинали. Провожала его до гостиницы я. Я умолила его согласиться на это после того, как однажды вечером, когда он возвращался, проводив меня до метро, полицейские окликнули и задержали его:

— В котором часу ты кончаешь работу?

— В шесть.

— А что ты делал после шести? Скоро одиннадцать.

— Я гулял...

— Ну, прогуляйся с нами.

И не выпускали всю ночь и первую половину следующего дня.

Я меньше волновалась, расставаясь с ним у его дверей. Он прощался со мной, здоровался с тем, кто дежурил у входа в коридор. Я уходила спокойно. И на обратном пути мысленно сочиняла письмо, которое отправлю бабушке.

Саида, работавшего на обивке, уволили. Он жил в Тринадцатом округе и часто попадал в облавы, его хватали, задерживали, он пропускал рабочий день или опаздывал.

— Что с ним будет?

— Другие подкормят. Но если он не найдет работы, не знаю, может, станет воровать.

Арезки сказал это с такой простотой, что выход показался мне естественным.

Нетерпеливая весна подстегивала февраль, и мы проводили долгие вечера на сквере Ла Шапель. Мы упивались скромными радостями, которые были нам дозволены. С наступлением темноты небо оживало; неслись облачные тени, преследуя друг друга.

— Взгляни на луну.

Арезки тянул меня за руку. Я говорила «О!..» в полном восторге. Тогда он тряс меня:

— Это же фонарь. Посмотри как следует, вон столб, за деревьями. Миражи цивилизации...

Мы смеялись, откинувшись на спинку скамьи. Каждые пять минут пронеслся поезд метро, раскалывая грохотом нежный вечер. Клаксоны полиции приближались и удалялись, наше дыхание следовало их ритму. Мы заключали пари о том, когда распустятся бутоны. Наши ладони соприкасались, сливались одна с другой, вздрагивали пальцы.

Внезапно наступили серые дни, холодные утренники, сузилось и уплотнилось небо; таким было все начало марта, вплоть до восемнадцатого, когда первый ясный день пришел на смежную туманам.

Он поразил нас, как нежданная улыбка на угрюмом лице. Тучи медленно разошлись, и наконец показалось солнце. Взоры с надеждой следили за каждым разрывом.

В полдень мы открыли все окна... Когда мы после перерыва вернулись, машины нагрелись. Воздух был теплым. Хотелось открыть рот и втягивать его в себя. Мужчины засучили рукава. Из каждой дверцы выглядывало смуглое лицо, притягиваемое светом.

Кто-то, на самом верху транспортера, стал постукивать инструментом по железу, потом кто-то еще забарабанил ладонями по разогретому металлу. Солнце играло на хромирован-

ных деталях, слепя глаза, тысячи солнц горели в каждой машине, веки опускались сами собой. Движения рабочих замедлились. Мужчины привинчивали детали и стучали по кузовам, все меньше привинчивали, все больше — стучали. Выскочил и затыкал Бернье, безобидный пустобрех, слишком вялый, чтоб лаять долго. Сделав положенное, он удовлетворенно вернулся к своему табурету, бумагам, чернилам, готической каллиграфии.

Началась неразбериха. Один, упустив время, бежал вниз по транспортеру, чтоб закончить свою операцию, мешал другим, кое-как подкручивал гайки или прибавлял деталь, потом возвращался назад, снова опаздывая и опять устремлялся за уже отошедшей машиной. Другие, чтоб войти в ритм, пропускали очередную машину, и когда она оказывалась перед нами, в ней не хватало слишком многих деталей, невозможно было продолжить сборку. Все кричали, суетились. Мюстафа смеялся, не раскрывая рта, его большой нос морщился от удовольствия. Он наслаждался беспорядком на конвейере, руганью специалистов, бесполезностью их рвения. Точно большой пес, опьяневший от весеннего солнца, он слонялся по цеху со своими ребордами на плече, сопел, беспокойно шевеля руками. Кто-то крикнул: «Выключите ток!» Кузов заблокировал лифт. Косо поставленная машина соскользнула влево носом. Нужно было по меньшей мере полчаска, чтоб ее высвободить. Доба подошел ко мне, вытирая руки:

— Пойдем взглянем, что там стряслось.

Я отказалась и присела на край транспортера. Никто не обращал на меня внимания. Я причесалась. Арезки курил с тунисцами.

Песня возникла вдалеке, на самом конце конвейера. Глухой, долгий зов. Напротив откликнулись молотки. Они звонко выстукивали тот же однозвучный призыв. Тотчас захлопали ладоши. Мюстафа пробежал по проходу. Он услышал.

— О, — выдохнул он.

Он набирал воздух, задерживал его в груди — «О, о!» Взобравшись на крышу машины, он принялся отбивать мотив, раскачивая головой.

— Мюс-та-фа!

Дважды кто-то выкрикнул его имя. Он застучал сильнее. Тунисцы приблизились, Арезки тоже. Все забили в ладоши, скандируя слова, которые Мюстафа бросал солнцу со своей крыши. В цехе образовался круг. Мужчины постукивали в такт пению и, закатив глаза, покачивали головами. Это была уже не игра, это была в подлинном смысле слова разрядка, реванш за рабство у конвейера, за его стесняющий темп. Французы считали делом чести не подходить близко. Некоторых, однако, изумлял этот бред, они смотрели, смеялись. Я заметила Люсьена. Он тоже спустился вниз. Он не курил, он слушал и слышал. Он упивался музыкой,

рождавшейся как река из тонкой печальной ноты, растянутой, дрожащей, колеблющейся, прерывистой. Эта нота, дрящаяся, тоскливая, точно игла вонзалась в плоть, раздирала ее, и вдруг обрывалась, как струна гамбры, резко звякая. Если б у Люсьена хватило смелости, он, конечно, встал бы в круг. Арабы стучали ладонями по железу, по капоту и багажнику машины — гигантскому металлическому барабану. Когда Мюстафа подобно муэдзину скандировал протяжное «элби — эл-би», стук замирал. Мюстафа пел, стучал, задыхался, глаза его затуманились, собственное пение опьяняло его. Он вновь был пастухом, который сидит под оливой, охраняя своих тощих коз, он спускался босиком по желтым скалам, оборванный пастушонок, способный пронзить своей песней окружающих его мужчин, сердца нищих кочевников, которые сейчас были охвачены экстазом.

Мне казалось, что я уловила ритм ударов — два раза левой ладонью, один — правой, один — левой, два правой, — но стоило слиться с этим ритмом, как он внезапно ломался, река петляла: песня текла то каскадом вскриков, всплесков, то тонкой ниточкой, как быстрый ручеек, внезапно останавливалась, и снова плавно и долго лился поток с его неожиданными водоворотами.

Мне сжало горло, я сидела, чувствуя дрожь во всем теле, и щипала себя за ноги, чтоб не плакать. Мюстафа тянул в нос свой призыв, вскидывал короткие руки, и тоскливая жалоба рвала мне душу.

Доба обошел круг. Вечером он скажет жене: «Ну и концерт нам задали сегодня ратоны!» Второй, длинный наладчик в очках, вероятно, думал: «Мой сын там воюет, а эти здесь поют, веселятся». Именно те люди, которые должны были бы их понять, признать — те самые, что провозглашали «Пролетарии всех стран соединяйтесь!», их теперь отталкивали. Дикари со своей дикарской музыкой. Североафриканцы, как их здесь именовали. Люди с ножом в кармане, лентяи, воры, лгуны, дикари, звери — африканцы. Сегодня вечером французы прочтут в своей газете: «Североафриканцы напали на бакалейницу». А пониже, под назидательной картинкой: «Французы мусульманского вероисповедания приветствуют губернатора». Псы, в обоих случаях. Либо добрые верные псы, заслужившие ласку, пощипку, либо — псы бешеные. Никогда и ни за что Доба, наладчик, многие другие не признают в них равных себе. От этого поколения уже не приходилось ничего ждать. Нужно, как говорил Люсьен, попытаться начать все сначала с новым поколением, поколением Мари.

Несколько болтиков ударились о мою руку. Я обернулась к Арезки. Он был далеко в кругу, в песне. Но снова болтики полетели в меня. На этот раз я поймала его: незаметно для окру-

жающих он ловко швырял их в меня. Он обернулся, взоры наши встретились. Да, да, мы своего добьемся, мы преодолеем препятствия. Настанет день, когда нам не нужна будет комната, чтоб прятаться. Я подобрала болтик, прицелилась и попала ему в спину. Мое движение видели все.

Раздался звонок. Сейчас транспортер тронется. Круг распался. Мюстафа слез с крыши. Подошедший Доба схватил его.

— Ты видел, что ты наделал?

На желтой краске остался широкий темный след. Мюстафа, еще не отрезвевший, вцепился в ворот его спецовки.

— Попробуй скажи мастеру, я тебя поймаю у выхода, вспорю тебе брюхо и напьюсь твоей крови.

Тот побледнел. Он поверил. Арезки схватил Мюстафу и, толкая его к машине, стал ему что-то яростно выговаривать. Мюстафа отошел и, насвистывая, взялся за свои уплотнители.

Медленно возобновилась работа. У нас еще оставалось несколько минут, чтоб посидеть в машине перед тем, как мы пустимся в свое неизменное путешествие по конвейеру.

Круг незаметно сужался. Враждебнее становились взгляды. Наладчик вовсе перестал со мной здороваться. Доба холодно протягивал руку. В раздевалке, где я так ни с кем и не сблизилась, меня встречали молчанием, любопытными взглядами, к которым я относилась с повышенной чувствительностью.

Оставались считанные островки, где я могла двигаться, не принимая мер предосторожности. Я перебирала тех, кто еще не знает: Жиль, профорг, моя соседка по шкафу — водитель кары, которая не завтракала в раздевалке, несколько женщин из инструментального. С ними мне было легко, меня охватывал прилив симпатии к ним, благодарности. И когда на одном из таких безопасных островков я ловила слишком пристальный взгляд, смесь иронии, недоверия, любопытства и презрения, у меня почва ускользала из-под ног, я терялась.

Диди была безжалостна. Она называла меня Айшей и, едва войдя в раздевалку, принималась по-идиотски хлопать в ладоши, напевая: «Алла! Алла!» Приходилось отвечать на ее выходящий смехом.

Арезки сказал мне как-то вечером, когда мы заговорили об этом:

— Что ты хочешь, некоторые убеждены в нашей сексуальной разнужданности, а наши, со своей стороны, видят во француженках чемпионок... изощренности. Есть такие, которые совокупляются именно поэтому. Я предпочитаю упредить тебя, что надежды часто оказываются обманутыми как с одной, так и с другой стороны. Легенды, знаешь ли...

Когда мы оставались наедине, он называл

меня Хауа. Он произносил это слово, целуя меня.

Я никогда не спрашивала, что оно значит. Я предпочитала не знать, придумывать разные переводы.

Однажды, после обеда, часов в пять, Жиль сделал мне знак следовать за ним. Когда мы вышли за порог цеха, он мне сказал, чтоб я не пугалась: у Люсьена открылось кровохарканье; его отвезли в Бисетр, я могу сегодня же вечером посетить больницу.

Он предложил поехать вместе со мной. У нас с Арезки было назначено свидание. Я сказала, что вернусь в цех и закончу работу. Жиль удивился, но не возразил. Я подошла к Арезки. Я сообщила ему новость, несмотря на присутствие Бернье, сидевшего в глубине машины вместе с наладчиком. Арезки понял. Он сказал очень громко:

— Надеюсь, что завтра вы сообщите нам добрые новости.

Мы пили молча. Я знала, что Жиль станет меня расспрашивать. То был один из редких и опасных моментов, когда решается: быть или не быть дружбе. Меня мутило от запаха пива. Нужно было, однако, храбро пить. У Жили, когда он наклонялся, чтоб зажечь сигарету, обнаруживалась маленькая лысина. Пиджак шел ему меньше, чем широкий белый халат, скрывавший толщину.

— Вы успокоились?

Он задавал мне этот вопрос в третий раз.

— Да, мосье, — сказала я.

И с благодарностью взглянула на него. Он дотронулся до моей руки.

— Вы были такая бледная в Бисетре.

— А ведь я привыкла к больницам. Я не нервничаю.

— Это не так уж серьезно.

Он пил торопливо, казалось, его мучит жажда.

— Мне очень нравится ваш брат.

— Вы один из немногих...

— Ну, почему немногих?

Он засмеялся.

— Неприятности в легких, это — не смертельно. У меня, когда я вернулся из Германии, легкие были совершенно дырявые. А посмотрите, каков я сейчас.

— Да, мосье, я знаю.

— Не говорите мне «мосье» на каждом слове!

Я тоже засмеялась и почувствовала себя лучше. Нужно было пить. Я отхлебнула большой глоток. Опорожнить стакан мне не удавалось.

— В нашей жизни есть что-то фарсовое, балаганное. Знаете песенку «Две сиротки», это про нас. В конце каждого куплета они оказываются в больнице. Иногда мне кажется, что земля вертится в одну сторону, а я и Люсьен — в противоположную, как эквилибристы в цирке.

Жиль допил свой стакан. Он смотрел в окно, затянутое нейлоном. Я догадывалась, что сказанное мною ему не понравилось.

— В определенном отношении это неплохо, — сказала он. — За него возмущаются, полечат его, он придет в себя. Это потребует нескольких месяцев. А там будет видно...

Официант проходил мимо. Жиль поздравил его. Я подумала, что надо кончать, уходить. Залпом выпила все, что оставалось в моем стакане.

— Еще кружку, — сказал Жиль. — А вы, Элиза?

Я согласилась, чтоб продлить этот вечер. У меня было желание говорить, как во время первой прогулки с Арезки. Хотелось рассказать все: прошлое, настоящее, наши тяготы и радости. И пусть бы он, выслушав, разобрался, дал совет.

Я описала Анну, Анри, Мари-Луизу; рассказала о расклейке плакатов по ночам, о собраниях, о красильном цехе, парилке; и о том, о чем только догадывалась: о выматывающих разговорах с Анной, бессонных ночах, отсутствии денег. Я подошла к сцене, разыгравшейся у ворот завода.

— Мне говорили, — сказал он. — На следующую день в столовой, когда я с ним поздоровался, он мне едва кивнул. Мы симпатизировали друг другу вначале. Он интересовал меня. Были у нас и стычки. Вы все относитесь к работе с отвращением. Я так не могу. Когда что-нибудь делаешь, нужно это делать хорошо. Вы халтурите, тяп-ляп. Причины понятны. Вы продаете свои руки, и не спорю, продаете по дешевке. Но уважайте свое дело, дело, к которому приложили руки не вы одни. Посмотрите на конвейер под определенным углом зрения, разве он не прекрасен?

Я возмутилась:

— А темп?

— Да, да. Тут я с вами, тут я сражаюсь за вас. А вы своей плохой работой выбиваете у меня из рук оружие.

— Мы работаем плохо, потому что у нас нет времени работать.

Я задыхалась. Стаканы с пивом стояли перед нами. Музыкальная машина повторяла: «Жюли, Жюли, русая Жюли».

— И как только вы дошли до такой жизни, вы оба? Никто не направлял вас, не советовал, не помогал? Вы идете по неправильному пути.

Я чувствовала, что сижу вся красная. Следовало сдержаться, дать Жилью высказаться. Он вспомнил мне о первых шагах Люсьена на заводе, о его наивности, перехлестах. Я все это знала. Он указал мне на его ошибки. Он не отрицал расизма рабочих, но винил в нем социальную механику, господствующую над людьми.

— Не будь бико, выдумали бы что-нибудь другое. Поймите, они самоутверждаются, глядя

на арабов. Плюс невежество, бескультурье, страх перед всем, что на тебя не похоже, а тут еще война... Все это нужно вышолоть постепенно, осторожно, нужна терпеливая работа, с наскоку, разом, анархическими действиями ничего не изменить.

Он не убедил меня. Я была заодно с братом, я одобряла все, что Жиль именвал перхлестами. Расхрабрившись от пива, я спросила Жилья, согласен ли он с решением партии, — мне казалось, что она выступает в алжирском вопросе не очень активно.

— Я за решения, которые взвешены, продуманы и обсуждены. Осторожность необходима. Есть люди, которые совершают революцию в собственных корыстных интересах, принимают в ней участие по причинам, о которых вслух не скажешь. Можете ли вы судить о том, кто действительно представляет эту революцию.

— Все те, у кого хватает отваги ее делать.

Он заглянул мне в глаза, так глубоко, что я отвернулась.

— Элиза, — сказал он.

— Да.

Он смотрел на меня доброжелательно.

— Вы должны прийти к нам, поверьте мне. В одиночку ничего не добьетесь. Десять лет вы будете бунтовать, а потом, в один прекрасный день, покоритесь. Кто знает? Перейдете в другой лагерь... Помните, я ругал вас однажды за ваше отношение к пареньку, который на ребордах?

— Мюстафа? Помню. Я не отметила допущенный им брак.

— Я называю это... материализмом.

— Это моя жизненная позиция.

— Ее необходимо пересмотреть. Поговорите как-нибудь с Арезки, с тем, который ставит зеркала.

Значит, он был не в курсе.

— Я уже говорила с ним. И не раз.

— Они с вашим братом сначала ладили, но недолго.

Гул голосов вокруг нас, пиво, свободное течение нашего разговора — все толкало меня открыться. Я удержалась в последнюю секунду. Я произнесла: «Послушайте...», и вдруг ощутила, что, узнав, он посмотрит на меня по-иному. Решит: ну вот, очередная постельная история. Кто попытается меня понять? Кто захочет? Он, я, мы все слишком скоро выносили свое суждение. Мы хватались за первое попавшееся объяснение, потому что так было проще, потому что этого требовал ввевшийся в нас конформизм.

— Послушайте...

— Да.

— Послушайте, вы задержались из-за того, что провожали меня в Бисетр. Мне не хотелось бы...

— Действительно. Я должен идти. Жена

не станет беспокоиться, но... Нужно, чтоб вы с ней познакомились. Она активистка, знаете... И помните, если у вас возникнет нужда во мне в связи с вашим братом...

Каверна — красивое слово, в звучании которого есть что-то колдовское. Каверна — лихорадка, кашель, кровь, рентген, харканье, бактерии, больница, температурный листок, анализы, пособие на лечение, исследования, диспансеризация, уколы — извилистый лабиринт, и на выходе из него: санаторий.

Люсьен оставался в Бисетре недолго. Он вернулся домой, и я дважды была у него. Первый раз он встретил меня нелюбезно, второй, казалось, был рад, хотя подле него был Анри, преувеличенно оптимистичный, как принято у постели больного. Санаторий Люсьену был нужен, но он никак не мог решиться. «Три месяца, — возражал Анри, — пустяк». — «Конечно, они тебе говорят три, а потом держат шесть». — «Ну и что? Будешь читать, передохнешь...» Анна безмолвствовала. Она надеялась, что Люсьен не уедет. Я злилась, думая: «паскуда, паскудная девка, это она его заразила. Вледная немочь, в ней гнездится болезнь. И мать ее от чахотки умерла».

— Энкур не так уж далеко, мы будем тебя навещать каждый месяц.

— Только не это, — запротестовал он, — избавьте меня!

Глаза его, ни на чем не останавливаясь, обегали комнату, скользили с предмета на предмет, потом начинали новый круг. Физическая слабость, безразличие, желание отделаться от нас, — он быстро уступил: «Ладно, поеду». Он прикрыл глаза, пошарил, как бы ища сигареты, которые были ему запрещены, и звонко хлопнул себя по ляжке:

— Вам играть, а мне — смотреть.

Он поселился в Энкуре 15 апреля. Этот вынужденный отъезд привел к чуду, о котором мечтал Арезки. Люсьен доверил мне свою комнату. Анна согласилась. Она перейдет в Дом Женщины, а я — вот отместка! — займу убежище, откуда меня изгнал ее приезд.

— Ей не по карману пятнадцать тысяч. Она не работает. Владей логовом, когда я выйду, освободишь.

Она унесла пластинки, электрофон и книги. Такова уж была эта жизнь, подобная джунглям: радости и удовольствия одних зиждились на горе других. Пока они обсуждали между собой практические детали, я ласкала взором стол, кровать, раму окна, из которого мы увидим, как окрасятся пурпуром синие холмы.

Жиль подошел к транспортеру справиться о Люсьене. Я пыталась быть краткой, сухой, сдержанной, но он заметил мое волнение. Он отослал меня к подходившей машине, а когда

я вылезла из нее, с ним уже, оживленно жестикулируя, говорил Мюстафа, и я не остановилась. Немного позже, проходя мимо, Жиль бросил взгляд в мою сторону.

Двадцатое апреля выпало на воскресенье. Я торопила Анну, которой никак не удавалось закрыть чемодан, мешали туфли, каблуки упирались в непрочную крышку.

— Возьмите их в руки.

— Конечно. Вы правы.

Мне было стыдно своей сухости, наталкивавшейся на ее демонстративное смирение. У меня перед глазами вставало ее лицо, распухшее от слез, когда я застала ее врасплох первого января. Сегодня вечером, подумала я, оно опять будет таким. Я представляла ее себе в моей клетушке, пьяную от рыданий, приглушаемых подушкой.

Перед отъездом Люсьен отвел меня в стору.

— Если можешь, помоги ей вначале. Анри попытается что-нибудь найти для нее. Не оставляй ее одну. Я в долгу не останусь, когда выйду. Говорят, они там учат выздоравливающих разным ремеслам.

Но я была не в силах пожертвовать этим первым воскресеньем. Вот уже два дня я жила предвкушением прихода Арезки и той полной свободы, которую дают четыре стены...

Он сказал мне: «Я позвоню тебе, здорово, что теперь можно говорить с тобой по телефону. И скажу, приду или нет. У нас в районе большие потери, очень большие. Пятнадцать арестов. Все руководство».

После завтрака я легла, я видела, так делала Анна, я распустила волосы, чтоб походить на нее. Я немного почитала, постояла у окна и снова легла, чтоб обрести покой во сне. Арезки позвонил в полдень. «Нет, я не приду. Я ведь объяснил тебе. Сегодня выйти невозможно, я должен остаться здесь. Завтра. Завтра вечером, это уж точно».

Ждать пришлось до среды. Арезки входил в цех, шел прямо к конвейеру, крепко пожимал мне руку и оставался подле меня до самого звонка.

— Не волнуйся.

Он по лицу увидел, что я расстроена.

Наконец в среду он шепнул:

— На станции Крым в семь.

Я с легким сердцем взялась за свою планку и карандаш. Мюстафа работал, не открывая рта. Я спросила его, что случилось.

— Ничего.

Доба, проходя мимо, справился о Люсьене.

— Я пока ничего не знаю. Позвоню завтра, но легкие глубоко затронуты.

— Краска! Жалко, такой молодой.

У него под глазами набухли тяжелые красноватые мешки, из голоса исчезла обычная звонкость.

— Я что-то тоже не в форме. По утрам не могу подняться. Поскорей бы на пенсию!

Это говорили все. Все об этом вздыхали. Поскорей бы на пенсию!

— Хауа, ты в обиде на меня. Но кто должен сердиться? Я тебя просил, умолял, уедем к тебе. Мы бы жили с бабушкой. Вчера я еще мог, я был свободен... почти свободен. В подпольной борьбе, знаешь как, ты все и ты никто, и снова становишься кем-то... Подумай, пятнадцать братьев арестовано, весь квартал дезорганизован, но ничего. Война скоро кончится. Ты моя Хауа, сегодня вечером я свободен. Будет немножко трудней, чем раньше, знаешь, но мы своего добьемся. Ты согласна, правда? Что означало Хауа?

— Значит, мы будем видаться реже?

— Немного реже, да. Но зато подолгу, теперь ведь есть комната.

Когда мы добрались до Сен-Дени и обошли лавочки на площади, чтоб купить еды на ужин, его оживление угасло. Перед дверью гостиницы я шепнула:

— Пройдем потихоньку, они меня еще мало знают.

Но нам навстречу попался управляющий, спускавшийся по лестнице. Захлопнув дверь, Арезки положил на стол хлеб и фрукты. Глядя на кровать, он вздохнул, сел, закурил.

Потом притянул меня к себе.

— Хауа, прошу тебя, спустись за вином. Сегодня мне необходимо выпить. Ладно?

Ужин затянулся. Арезки снова повеселел. Он надеялся, что сможет приходить ко мне два, три раза в неделю.

— И нужно, чтоб ты ушла с завода. Но придется обождать.

Я болтала, не закрывая рта. Арезки с недопитым стаканом устроился на кровати.

— Оставь все это, не возись с посудой... Иди ко мне.

Я познала наслаждение даровать наслаждение. Мы оставили окно приоткрытым, и ночной воздух разбудил нас.

— Зажги свет, — попросил Арезки.

Он задумчиво курил. Мне вдруг показалось, что это не мы, а Люсьен и Анна, позы которой я принимала. Мы разговаривали до рассвета, пока не задремали снова.

— Я хотел откатиться...

Язык Арезки заплетался.

— Но если бы я оказал им сопротивление, они убили бы меня у тебя на глазах или схватили бы тебя. Я мгновенно понял это.

— О чем ты говоришь?

Но он уже спал.

Меня поднял звонок будильника. Я двинулась на цыпочках, не зажигая света. Арезки не просыпался. Я подошла, чтоб поглядеть на него, но, защищаясь от слабых утренних лучей,

он завернулся с головой в простыню, торчало только несколько черных прядей. В комнате становилось светлее, вещи обретали форму, их контуры еще хранили изящную смутность. Арезки пошевелился. Я подбежала к постели. Мы молча взглянули друг на друга.

Управляющий, который выставлял мусорные баки, видел, что мы вышли вместе.

Арезки купил газету, но читать не стал, зажав ее под мышкой. Я взяла газету, показала ему сообщения, относившиеся к войне. Он пожал плечами. Перед тем как автобус остановился у ворот Шуази, он крепко стиснул мои пальцы, я ответила ему таким же пожатием.

Звонок раздался в тот момент, когда он занял свое место на конвейере. Я пришла за несколько минут до него и болтала о всяких пустяках с Мюстафой. Я была пьяна, страсть, которой я не ощутила ночью, сейчас нахлынула на меня. Я мечтала оказаться наедине с Арезки, схватить его руку и целовать ее в то незащищенное место, где скрещиваются вздутые вены.

После отъезда Люсьена я ощущала одиночество, несмотря на присутствие Арезки. Брат никогда не был мне поддержкой, но я знала, что он близок, рядом, и это успокаивало меня. Бернье пытался поймать нас, следя глазами за Арезки, когда тот приближался ко мне. Если бы я в этот момент допустила какую-нибудь оплошность, он бы безжалостно наказал меня. А промахи у меня в то утро были... Жиль не скрывал досады. Я молча выслушала его замечания. Бернье упивался этой минутой. В обеденный перерыв Жиль пришел за мной. Он подвел меня к карнасу машины и показал на панель приборов. Я пропустила брак, хотя он был виден с первого взгляда.

— Вы отдаете себе отчет?

— Да, она другого цвета.

— Именно! Я мог бы вам показать еще многое. Что с вами? Вы больны? Тревожитесь о Люсьене? Или вас волнуют события? Знаете, Элиза, участливость, доводящая до отчаяния, никому не приносит пользы.

Видя, что я не хочу отвечать, он не стал настаивать. При выходе из цеха меня остановил профорг.

— Не позволяйте садиться себе на шею. Начальник, даже Жиль, не имеет права задерживать вас после звонка.

— Он расспрашивал о брате.

— Перед машиной, которую вы проверяли? Я отошла и спустилась к телефону. Сначала я позвонила Анне в общежитие, но ее не было. Тогда я попросила Энкур. Мне не удалось получить никаких сведений о состоянии брата.

Всю вторую половину дня я еле-еле двинулась от машины к машине, а вечером, вернувшись в свою комнату, рухнула на постель и застала одетой.

Назавтра управляющий вручил мне записку, оставленную Анной.

— Я пользуюсь случаем, чтоб напомнить вам, — проворчал он, — что оставлять на ночь лиц, не записанных в книге, воспрещается. В особенности... иностранцев.

«Элиза, вчера вечером я была в Энкуре, но это был час процедур, и мне не удалось повидать Люсьена. Меня успокоили. Нам разрешено посетить его 4 мая. Я предупредила Анри. Он ответит нас».

— Ты поедешь, Арезки?

— Нет, зачем я там?

— Познакомишься с Анри, с Анной, и Люсьен, я уверена, будет рад поговорить с тобой.

— Нет, мне не нужны ни Анри, ни Анна. Ни с кем не хочу знакомиться.

Он пришел в воскресенье, как обещал. Накануне он вызвал меня к телефону, но присутствие управляющего стесняло меня.

— Элиза, ты в обиде на меня? Ты сердисься? Терпи меня, какой я есть, если ты меня любишь. Ты меня любишь?

— Да, конечно.

— Я приду завтра. Я буду свободен вечером и останусь до понедельника. Ты согласна?

— Да, разумеется.

Мы курили одну сигарету. Арезки жульничал, он затягивался два раза, потом отдавал сигарету мне, я тоже жульничала, я просто дула, чтоб заалел кончик сигареты. Мы еще не зажигали света, хотя мрак заполнил комнату, и в те минуты, когда сигарета разгоралась, исподволь наблюдали друг за другом. Я не знала, который час; понимала, что поздно. Я не смела прервать этого тихого ночного бдения, которое, казалось, доставляло удовольствие Арезки. Он вздохнул, я спросила:

— Что с тобой, Арезки? У тебя несчастный вид. Разве мы не мечтали о комнате, где будем вдвоем? Мы получили ее. Мы вместе. Чем ты опечален? Чего тебе не хватает?

— Ты права. Мне чего-то не хватает. Трудно объяснить. Мне не хватает воображения. Я не могу вообразить будущего. Мечты не посещают меня больше...

— А настоящее тебя уже не интересует?

— Я ощущаю его как прошлое. Ты можешь это понять?

Я ворошила его волосы. Все во мне трепетало от этого прикосновения. Долгие годы я испытывала желание дотронуться до волос Люсьена. Когда он был маленьким, я причесывала его, любила погружать пальцы в его шевелюру, гордилась ее густотой и темным блеском. Потом, однажды, он грубо оттолкнул мою руку, и больше никогда я не гладила его волос.

— И мы уподобимся мертвецам тысячелетней давности.

— Что?

— Ничего, не бойся, это стих арабского поэта, я позабыл начало. Он говорит, что нужно жить мгновением. Они пишут все это в спокойные времена, когда опасность миновала. Мы тоже живем мгновением. Зажги свет, Хауа. У тебя здесь нет ничего спиртного?

Я встала и пошарила в шкафчике под раковиной. Я не нашла ничего, кроме маленького флакончика рома, такие покупают обычно, чтоб придать аромат тесту. Он был почат, я вылила остатки в большой стакан. Я попыталась, шутя, приподнять его голову и дать ему напиток. Его печаль меня стесняла.

— Ты любишь синий цвет?

— Да, очень. Но у синего много оттенков.

— Такой, как море, зелено-синий. Но ведь ты никогда не видала моря?

— Нет, никогда.

— Когда-нибудь увидишь. А в следующем месяце я принесу тебе длинный домашний халат такого синего цвета.

— Халат, Арезки! А еще говоришь, что у тебя нет воображения. Желать значит воображать!

— А говорить громко — убеждать себя.

— Ты просто устал. Я это сразу увидела, когда ты пришел и лег. Как ты живешь? Когда ты отдыхаешь?

Он попросил дать ему сигареты из кармана пиджака.

— Я всегда в бегах, туда, сюда... У полиции сила, понимаешь...

Он понюхал стакан, пригубил и поставил, не выпив.

Приглушенный свет сочился из-под красного абажура, купленного Люсьеном, смягчая угловатость лиц. Арезки делался разговорчивее, когда курил. Но я плохо слушала. Мне хотелось от него защититься, я противилась отчаянию, закрывала дверь перед тенью. Он говорил. Уставившись в алый абажур, он жаловался глухим, низким голосом. Как и Люсьен, он утверждал, что тело не в счет, что его нужно использовать до полного износа, что усталости, недосыпанию нечего придавать значения. Он объяснял, как сложна борьба, которую они ведут. Нужно научить братьев всему: мыться и не плевать в метро, платить взносы, нужно привить им осторожность маскироваться, терпеть.

— Ты не представляешь себе, что такие люди. И я первый. Здесь я пью, там — наказываю тех, кто пьет. Война не украшает человека.

Я подбадривала его, утешала. Разве война не подошла уже к решающему моменту? В общественном мнении наметился поворот, люди начинают понимать.

— Кто? — прервал он. — Элиза, Люсьен, Анри? Сколько вас?

И поскольку я протестовала, он, желая доставить мне удовольствие, согласился.

— Иди сюда, только закрой окно, холодно. Ну, расскажи мне что-нибудь.

Рассказы стали нашим убежищем. Рассказы о бабушке, о гавани, о пейзажах Кабилии, об устойчивых, безобидных предметах и людях. Иногда удавалось забыть. Но внезапно одно слово, вздох, жалоба возвращали нас к исходной точке, к тому, что нас действительно заботило.

— Я не увижу тебя целую неделю.

Я опустила голову и спросила:

— А в субботу?

— Нет, только не в субботу, ты же знаешь.

— Думаешь, правительство падет?

— Какое правительство?

— Французское, какое же. Люсьен перед отъездом говорил, что это может все изменить.

— Когда ты поедешь к Люсьену?

— В следующее воскресенье, с Анри и Анной, поедем с нами.

Он поморщился и сказал:

— Обидно... Мы могли бы провести вместе все воскресенье. Я пришел бы утром, пораньше.

Я не ответила. Долгое молчание разделило нас. Потом я заметила, что он уснул, и укрыла его.

По вечерам я отворяла окно комнаты, где, в одиночестве, ждала прихода ночи, — мне хватало сумеречного света. Я зажигала лампу только с наступлением полной темноты. До пятницы я была тверда в моих планах, я не могла допустить, чтоб у брата создалось впечатление, что о нем помнит только Анна.

В субботу, проскользнув мимо Арезки, я спросила: «Ты придешь в воскресенье, если я буду ждать?» Он твердо обещал, и я решила отказать от посещения санатория.

В обеденный перерыв профорги раздавали у ворот завода листовки. Несколько дней назад дирекция отвергла требования профсоюза, листовки призывали нас собраться в тот же вечер. «Ни одно обещание не выполнено. Их дают только для того, чтоб разоружить нас».

Вечером, когда профорги разъясняли создавшееся положение, нас собралось немного. Один из рабочих нашего цеха, стоявший сзади, шепнул мне:

— Где же ваши дружки арабы?

Ни одного из рабочих-иностранцев на собрании не было.

Я солгала без запинки, когда Анна позвала меня к телефону. Мой предлог был явно выдуманным. Пока я объясняла, почему не поеду, я поняла, до чего люблю брата. Отказавшись его увидеть, я еще острее ощутила свою привязанность. Анна приняла новость с нескрываемым удовольствием, я почувствовала это по тону ее голоса. Она пообещала заехать ко мне на обратном пути, чтоб сообщить новости.

Я прождала Арезки все воскресенье. Он не

пришел. Около половины седьмого в дверь за-барабанили. Вошла Анна и, не садясь, рассказала о посещении Люсьена, прерванном процедурами, которые ему положено было принять. Глаза ее блестели, голос дрожал от волнения, от подспудной радости. Брат хотел уехать из санатория. Он заявил, что не желает три месяца жить вдаль от нее.

«Еще месяц, и я смоюсь». Она думала, что я возмущусь, стану протестовать, взывая к благородию, заботам о здоровье. Но я только спросила: «Он не был огорчен моим отсутствием?» Дурацкий вопрос. В ответ она лишь усмехнулась.

— Следующее посещение второго июня.

— Я обязательно поеду.

В восемь часов позвонил Арезки и сказал:

— Я иду.

Я на него сердилась, мне было ясно, что он накануне солгал, пообещав прийти.

Он даже не пытался отрицать.

— Да, я сделал так нарочно.

— Тебе это доставило удовольствие?

— Да.

В тот вечер он вел себя непринужденно. Мы строили планы на неопределенное будущее.

— Нужно, чтоб ты ушла с завода, но пожди до отпусков, еще два месяца.

Я думала: «А как же бабушка?» Но ничего не сказала об этом, не говорила я и о брате. Я тоже утратила способность мечтать.

Письмо Люсьену, на которое я не получила ответа, несколько вечеров с Арезки на улице или в комнате, заполнили мою жизнь до 13 мая. В то утро Бернье подошел ко мне и, сохраняя свою радужную улыбку, заявил, что я лишена премиальных.

— Вы работаете плохо, очень плохо. После вас приходится снова все проверять. Вы пропускаете неполадки. Чтоб проверять как следует, нужно не вертеть головой и смотреть на машину, а не на того, кто в машине.

Я спросила, что он хочет этим сказать.

— Что я хочу сказать?

Арезки был рядом, он слышал нас.

— Ваше дело судить о моей работе, остальное вас не касается!

— Думаете, я испугаюсь вашего бико, который нас слушает?

Нельзя было допустить, чтоб Арезки вмешался, но я забыла об осторожности, швырнула на пол свою планку и карандаш и закричала, что пожалуюсь профоргу. Я уже не испытывала страха, меня перестали смущать взгляды окружающих. Бернье обернулся к Арезки.

— А ты чего тут торчишь? Вскружил ей голову, да? Это ты ее подначиваешь?

Ответа Арезки я не услышала. Он утверждал потом, что сказал только «отвяжись». Но я увидела, как он оттолкнул Бернье, загра-

давшего ему проход. Бернье вцепился в ворот его рубашки, и Арезки, вырываясь, прижал бригадира к борту подхитившей машины. Тот не ударился, но покачнулся и сел на транспортер.

— Я тебя вышвырну за дверь.

Он поднялся с помощью Доба, который оказался рядом, неведомо кем предупрежденный, и направился к застекленному кабинету начальника цеха.

В полдень Арезки вызвали в контору и уведомили, что он уволен. Он попрощался с тунисцами и Мюстафой и вышел из цеха, ничего не сказав мне. После перерыва Мюстафа передал мне записочку. Арезки будет ждать меня на станции Крым.

Лицо Арезки, в свете лампы, отбрасывавшей тень на глазницы, казалось трагически мрачной, слепой маской.

— Ну вот я и безработный!

Он пытался шутить, смягчая происшедшее, но я-то понимала, каковы могут быть последствия. На мои вопросы он ответил:

— С завтрашнего дня начну искать работу.

— Я тоже уйду. Без тебя я там не останусь.

Когда мы выходили из метро, кто-то громко сказал:

— Говорят, в Алжире был большой цирк. Только что сообщили по радио.

Поглощенные своими делами, мы пропустили эти слова мимо ушей. Я вернулась домой около девяти часов и впервые за долгое время заплакала. Завтра придется идти на работу с распухшей мордой, как всегда, когда засыпаешь в слезах. Я пообещала Арезки выдержать до конца месяца.

— Уйдешь, когда у меня будет работа. Нельзя, чтоб мы оба сразу остались без денег.

Около Венсенских ворот в автобусе освободилось место, я села и развернула газету. Но до меня не дошла вся серьезность событий: слишком я была усталой, озабоченной. Без Арезки, без его лица, мелькавшего обычно среди всего этого металла, мне было неприятно в цеху. Пршедшие дни представились мне вершиной счастья.

Я чувствовала, что мне надо уйти с завода, я объяснила это Арезки, встретившись с ним на площади Италии. Мы немного прошлись, было тепло. Положение серьезное, сообщил он мне, да я и сама видела это по огромным заголовкам в вечерних газетах. Он еще не нашел работы. На следующий день поищет еще, в конце концов что-нибудь подтвердится — успокаивал он меня.

События разволновали меня. Я пылко об-суждала их, Арезки только улыбался. Тревога за него отошла на второй план, я была поглощена чтением газет, дискуссиями на заводе, бесконечными телефонными переговорами с Анри и Анной. Мы в те дни жили интенсивной жизнью, убежденные, что наконец настал час, что произойдет некий фантастический переворот. Мы

испытывали удовлетворение от сознания, что мы тоже «участники», участники чего, собственно, мы не знали, но ощущали себя занятыми, необходимыми, мобилизованными, наконец-то пригидившимися. Каждый два дня я писала Люсьену. Он отвечал. Он совершенно обезумел от новостей, доходящих до него. Он говорил, что «пошлет все к дьяволу и придет». Он-то там ни в чем не участвовал. На заводе атмосфера изменилась. Я увидела Жилья, окруженного рабочими. Он позвонил мне, сказал: «Она стоит на правильных позициях». Он подсчитывал: в таком-то цеху пятеро партийцев, в 76-м — восемь. Жилья говорил: «Важно не то, что было вчера, важно, сколько нас сегодня». Даже Доба жертвовал обеденным перерывом и подходил к нам. Впрочем, подходили многие. И женщины. Жилья сиял. «Во Франции крепка старая республиканская традиция. Когда надвигается опасность, она оживает». Лишь несколько упрямцев отказывались подписывать всевозможные обращения, резолюции, призывы и клятвы. По конвейеру струилось что-то теплое, густое, успокоительное, спланивавшее нас. Жилья называл это рабочим братством. Этому энтузиазму, этому порыву суждено было пропеть лебединую песню 28 мая.

Арезки хмыкал:

— Теперь это уже ни к чему, слишком поздно.

Я сердилась на него за скептицизм и неверие.

Двадцать седьмого мая он позвонил мне. Я кончала ужинать. Мы не смогли встретиться в этот вечер; он был занят.

— Все в порядке, мне обещали с пятнадцатого июня работу. Не наверняка. Но есть надежда. Я попытаюсь прийти сегодня вечером.

— Сейчас?

— Да. Через полчаса, час.

Я подумала об управляющем и его замечаниях.

— Приходи после одиннадцати, тебя никто не увидит.

— Это слишком поздно, можно попасть в облаву. Ничего не попишешь, увидимся завтра.

— Завтра демонстрация, я не знаю, когда она кончится.

— А, демонстрация!

Я сделала вид, что не замечаю иронии.

— Хорошо, я постараюсь прийти после одиннадцати. Если что-нибудь помешает...

— Позвонишь мне завтра. Приходи сегодня, Арезки. Но осторожней с управляющим. А может, мне выйти и подождать тебя где-нибудь? Мы войдем в дом вместе, так будет лучше.

— Нет, жди меня в комнате.

Но я прождала его напрасно. Двадцать восьмого я поднялась как во хмелю. Я растворила окно, взглянула на улицу, на горизонт, чистый от дымов, на оранжевую полосу над крышами, предвещающую жаркий день. Мы работали до по-

людня. Мне не хватало Люсьена. Я представляла его себе среди зелени Энкура, приторно-сладкой, тошнотворной для него, изголодавшегося по брусчатке и асфальту. Потом мы все вместе сели в метро. У входа нас расплющила, поглотила толпа металлистов, почтарей, каменщиков. На каждой станции все новые группы пытались втиснуться в перегруженные поезда. Те самые люди, которые вечерами ругались, если их толкнули или наступили на ногу, сегодня смеялись, называли друг друга товарищами. Метро текло как река, вбирающая в себя бесчисленные потоки людей, несших плакаты, свернутые транспаранты, флажки, знамена. Некоторые — самые пожилые — надели красные галстуки. Меня окружали рабочие нашего завода, которых я считала негодяями, расистами, и я была возбуждена до такой степени, что мне хотелось просить у них прощения за эту несправедливую оценку. Я еще не понимала, что эти люди всегда следуют за волной, каким бы ветром она ни была поднята. Крохотная среди мужчин, я закрывала глаза от счастья. Я представляла себе, как расскажу обо всем Арезки. Стал бы он смеяться, если бы видел этот океан, затоплявший площадь Нации?

Ко мне подошел Жиль.

— Ну, Элиза? Наша взяла!

— Да, я думаю, на этот раз наша взяла.

— Как в тысяча девятьсот тридцать шестом, — сказал за моей спиной Доба.

— Студенты...

Они развернули свои транспаранты. Литературный факультет, медицинский, студгородок Антони...

— А вот и Рено!

Передовой отряд рабочего класса шагал под гром аплодисментов. Взявшись за руки и выкрикивая лозунги, мы дошли до площади Республики. Мы могли бы идти и дальше. На площади какой-то юный безумец вскарабкался на статую и украсил ее цветами. Весь Париж, душа и тело, был здесь, слившийся воедино. Вертолеты наблюдали за толпой. Кто-то, позади меня, сказал:

— А если высадутся парашютисты?

— Пусть попробуют!..

Мы спасали республику, нам, непобедимым и спаянным, не было числа. Парень, который только что выступал, смутно напоминал Люсьена. Но лицо у него было спокойней, решительней, фигура поплотнее. В его глазах я читала радость, энтузиазм и думала: «Вот каким мог быть Люсьен».

Я оставалась до конца, до того момента, когда зрелище опустевшей площади поколебало мою уверенность. С грустью я пустилась в обратный путь, тупо повторяя про себя: «Respublica — общее дело». Арезки не позвонил, но это меня почти не встревожило, я падала от усталости. Когда я проснулась, солнце заливало комнату. Я взглянула на часы, идти к воротам

Шуази было уже поздно. Ничего не попишешь, утро потеряно. Я ходила взад-вперед, греясь в лучах солнца, переполненная физическим счастьем. Мне казалось, что наступает новая эра, что накануне мы совершили некоего рода революцию... Я вышла, купила несколько газет и свежего хлеба. Я вырезала фотографии и отложила их для Люсьена. Кофе дымился в лучах солнца, добравшихся до стола. Свежий хлеб крошился, похрустывая, и эти разнеживающие мгновения сливались с радостью, бившей во мне ключом со вчерашнего дня.

Проглядывая газеты, я прочла о смерти Люсьена. Я вскочила и подбежала к зеркалу. Держась обеими руками за голову, я посмотрела на себя. Вернулась к столу и, схватив ключ, кинулась к телефону. Я позвонила Анне. Ее не было. Потом Анри. «Он вышел», — ответила квартирная хозяйка. Я поднялась к себе, открыла дверь, посмотрела на чашку, на крошки хлеба. Газета лежала там, где я ее оставила, скользкая, как змея, я не смела до нее дотронуться. Я встала на колени, я повторяла: «Люсьен, Люсьен, Люсьен». Мне стало дурно. Я подбежала к раковине, но только сплюнула. Открыв окно, я глядела на газету, но только через долгое время решилась взять ее в руки. Сообщение было помещено на последней полосе под заголовком: «Трагическое происшествие у выезда из Манта». Я не могла прочесть сразу. Глаза отказывались видеть мелкие строчки заметки:

«В среду утром, около четырех часов, молодой человек на мопеде погиб у выезда из Манта. Водитель грузовика, принадлежащего Молочной компании, который сбил его, был допрошен полицией. Жертва — Люсьен Летелье, двадцати двух лет, находился на лечении в санатории Энкур. Мопед, на котором он ехал, был похищен им у одного из служащих этого заведения. Как утверждает автомобилист, ехавший следом за ним, молодой человек мчался сломя голову с погашенными огнями. В ответ на сигналы машины он удвоил скорость. Вильнув в сторону, он налетел на грузовик, пешеход навстречу. Смерть наступила мгновенно. Неизвестно, ни почему большой убежал из санатория среди ночи, ни куда он направлялся».

Я еще не чувствовала боли. Я нашла в себе силы выйти, добраться до почты, отправить пневматичку Арезки. «Приходи сейчас же, крайне необходимо. Элиза». Ни Анри, ни Анны не было дома. Я позвонила в Энкур. Мне сообщили, что тело Люсьена находится в Манте.

Я пошла домой по солнечной стороне, точно это еще могло доставить мне удовольствие. И тут рана открылась, через нее вытекло все, что во мне было, осталась одна боль. Задышавшись, я взбежала по лестнице, вдавила лицо в одеяло, чтоб заглушить свой крик. Время шло. Арезки не появлялся. Я дозвонилась Анри только к вечеру. Он знал. И Анна знала. Она была

у Анри, она страдала, плакала, как безумная, трагически и бесстыдно.

— Это чудовищно, Элиза. Я до сих пор не могу поверить. Люсьен. Он ведь ехал в Париж, правда? С ума сойти. Ради бесполезной демонстрации. Вы видели вечерние газеты? Ну, конечно, вы можете рассчитывать на меня. Мы поедем туда завтра вместе. Держитесь, вы всегда это умели. До завтра, не выходите, ждите меня, я приду с утра.

Забыл меня Арезки или не мог прийти?

Я ждала, когда он откроет дверь, чтоб броситься к нему, выплакаться на его груди. Утром я очнулась на кровати. Я видела во сне Люсьена. Красивый цветной сон, в котором мы ссорились из-за мелочей. Когда постучал Анри, я была готова. Я оставила у управляющего записку, тот нехотя взял ее. Арезки мог прийти в мое отсутствие, нужно было его предупредить.

— Прошу вас, сделаем крюк через Гут-д'Ор.

Я объяснила ему причину.

В гостиницу я вошла одна, поднялась в комнату, где нас застала полиция. Постучала. Подождала. Мужчина, открывший дверь, грубо спросил:

— Что? Что вам нужно?

— Арезки. Мне нужно его повидать.

— Его нет.

Тогда я заплакала и сказала, точно он мог понять:

— Люсьен умер.

Недоверчиво поглядев, он толкнул дверь, но я настаивала.

— Мне необходимо его видеть. Меня зовут Элиза. Мне нужно поговорить с ним. Это очень серьезно.

Он был страшно уродлив, косоглаз.

— Где он? Не возьмете ли вы на себя передать ему одно сообщение?

Он не понял и переспросил:

— Что?

Я настаивала на своем. Наконец он решился.

— Они схватили его во вторник вечером, в метро.

— Не может быть!

— Да. Это так.

Разумеется, это так. Одного взяли, на смеху придет другой. «Революция — бульдозер, она все сметает...» — и я вспомнила жест Арезки.

По лестнице поднимался старичок с длинными усами.

— Вы знаете Арезки?

— Никого я не знаю.

Мне было слишком жарко в моей суконной юбке. Она прилипла к икрам. Анри ждал на углу, приносиваясь к запахам казбы. Он беседовал с каким-то алжирцем, который осторожно уклонялся от ответов.

— Его арестовали. Во вторник вечером. Вы не подождете меня? Я найду к Ферату.

Это был ресторан, где мы иногда ужинали. «Его брат женат на моей сестре...»

— Я пойду с вами, Элиза.

Ферат ничего не знал.

— Схватено столько...

— Куда они отвезли его? Как узнать?

— Ну... — сказал он. — В Ла Вилетт или...

— Я не могу уехать, Анри. Я должна узнать.

— Но вы ничего не узнаете. Кто вам скажет? Полиция? Ждите, наберитесь терпения, может, его отпустят.

Внезапно я вспомнила о Мюстафе. Мы остановились у ворот Шуази, я подождала у выхода. Как только прозвучал звонок, я ринулась к воротам завода и оказалась перед ними в момент, когда сторож открывал. На меня оглядывались, я была вся в поту, задышалась. Прошел Мюстафа, я уцепилась за него.

— Они взяли его во вторник вместе со Слиманом, Слиман вчера вышел.

Я умоляла его отвести меня к этому Слиману.

— Я не могу уйти, иначе меня вышвырнут за дверь. У Арезки не было платежной ведомости.

Он объяснил мне, где живет Слиман, и извинился:

— Я должен поесть.

У меня было поползновение догнать его и сообщить о смерти брата. А зачем? Что от этого изменится? Он тоже зачерствел, как Арезки. Он вытаращит свои глазки, придется рассказывать ему, что да как, стоя здесь, на тротуаре, на солнцепеке, в гуще жизни.

Анри, полный снисходительности, отвез меня на Рю-де-Шартр, по адресу, который дал Мюстафа.

— Дело не только в платежной ведомости. Да, если б у него была ведомость, полицейские, может, и отпустили бы его, но... ничего не могу вам сказать, ничего не знаю.

— Во вторник вечером, около девяти, он позвонил мне и сказал, что сейчас придет...

— Знаю, я был с ним. У нас был разговор в кафе, и мы вместе дошли до метро, тут они нас и схватили.

— А потом?

— Потом, не знаю. У меня все было в порядке. А он... не знаю, куда они его отвезли. Нас рассортировали. Мы уже не были вместе.

— Ну, Элиза, будьте же разумны. Нужно ехать в Мант. Вы больше ничего не добьетесь. По возвращении я вам помогу, если хотите. Наберитесь терпения.

Мы приехали в Мант в пятницу вечером, а в понедельник утром вернулись в Париж. Анри очень помог мне. Я делала все, что он велел. Я горевала прилично, пристойно. Что-то во мне кровоточило, но всевозможные хлопоты, поездки взад-вперед между Энкуром и Мантом, Мантом и Парижем держали меня точно под наркозом. Анри сказал, что я не должна смотреть на бра-

та, незачем, нужно сохранить в памяти его прекрасное лицо юного безумца. Я послушно согласилась. Мне казалось, что я занимаюсь подготовкой какой-то церемонии для Люсьена, он, правда, будет на ней отсутствовать, но ничего похожего на небытие, на смерть я не ощущала.

В понедельник, в семь утра мы выехали из Манты. Я представляла себе Люсьена, удирающего из санатория, обезумевшего от сигналов клаксона, от мысли, что за ним гонятся, неловкого, дрожащего, нервничающего. «Какое безумие, — сказал Анри, — ради бесполезной демонстрации...» Неужели только из-за этого? Не подстегнуло ли его желание видеть Анну? Когда я высказала такое предположение, Анри нетерпеливо оборвал меня:

— Но Анна была частью всего этого!

Здесь, на этой плоской равнине, оборвалась история его жизни. Неудавшаяся жизнь, нелепая смерть. Молодые герои века умирали за рулем, в гуде космических скоростей, а он убит на мопеде. От его кончины не останется ничего, кроме этого карикатурного образа, лишнего даже тени романтического ореола. Он тоже хотел принять участие в деле; он думал, что Париж прогремит, а Париж всего лишь чихнул. И никто, кроме нас, любивших Люсьена, о нем и не вспомнит.

— Ну и что? — сказал бы он своим язвительным тоном. — Что с того?

Мы проезжали через какой-то городок, когда я заметила на тротуаре мальчонку, державшего в руках два хлеба, он перебежал улицу перед самой машиной. И я почему-то вспомнила песенку, подхваченную братом лет в двенадцать: он не переставая бубнил ее у себя в комнате, на лестнице, вызывая нас в комнату, на лице:

Наш Ганс фон Члокнок все, что хочет, имеет,
Но то, что имеет, того он не хочет,
А то, чего хочет, того не имеет.

Наш Ганс фон Члокнок все, что хочет, болтает,
Да только словам своим сам он не верит,
А то, чему верит, словам не доверит.

Наш Ганс фон Члокнок — перелетная птица,
На месте и часу прожить он не может,
А если и может — тоска его гложет¹.

— Ты типичный Ганс фон Члокнок, — говорила я, а он злился.

— Вот и Париж. Отвезти вас домой? Подем по Внешним бульварам, так быстрее.

Анри понял, что мне не хочется разговаривать, и не открыл рта с минуты отъезда. «Вот и Париж». Эти слова пробудили меня.

Все это время, до мгновения, когда мы вырвались из тоннеля, которым начинается и кон-

чается автострада, я думала только о Люсьене. Меня отделяли от людей зеленые деревья и поля, переливы неба, то серого, то розового, часы, прожитые в шепоте больничных коридоров и административных кабинетов, путешествие в Энкур, где мне вручили вещи Люсьена. «Вот и Париж». Завеса разрывается. Здесь начинается город с его чрезмерностью. Прямые улицы, у которых отнята таинственность. И горизонт стягивается до лоскутка неба между притиснутыми друг к другу зданиями. Он откровенно синий. День будет жарким. На женщинах открытые платья без рукавов. Арабы чинят тротуар. После Отейского виадука мы все чаще стоим, заторы. Это Париж. Здесь, в грохоте, в пестроте смешанной городской толпы я вновь обретаю Арезки.

Университетский городок. Красный кирпич напоминает английские колледжи, которые я видела на картинках в учебниках брата. Глядя на старые камни, на студентов, направляющихся к бульвару, я вдруг решаю, что Арезки ничто не грозит. Чуть дальше какой-то парень в открытой рубашке зеваает, выходя из дома Марокко. Если Арезки не вернулся, я подниму Париж. Существуют же адвокаты, газеты. Имеет же здесь какую-то цену жизнь человека. Найдутся люди, которые возмутятся, будут кричать, протестовать, требовать. 28 мая не было сном.

У Жантийских ворот дорога мягко идет вниз. Ослепительно сверкает на солнце цемент трибун стадиона. Я читаю на табличке: «Казенный вал». Казенный. Казненный. Статьи 76 и 78 «посягательство на внутреннюю и внешнюю безопасность...» Не так-то быстро они его отпустят.

Мы проезжаем мимо памятника из белого камня: «Французским матерям». Почет, признание заслуг — все это приходит потом, слишком поздно. Спуск кончается, мы поднимаемся к площади Италии. Здесь все слишком знакомо, я, не глядя, вижу на этом старом дерьме — заводе — вывеску: «Автомобили, деревообрабатывающие машины». Мне кажется, я слышу оглушающий грохот конвейера, ощущаю теплоту листового железа.

Вид реки с моста Насьональ наталкивает на мысль о трупах, которые она выносит. О телах, выброшенных в пьяные от ненависти ночи больших облав, о телах тех, кто оказался слаб, слишком много сказал и был за это наказан смертью.

Вдоль бульвара Понятовского стоят многоэтажные дома предвоенной эпохи, охватывающие Париж уродливым кольцом. Оттапливающие фасады, грязно-серый камень, подслеповатые окна, большие внутренние дворы, куда никогда не проникает солнце. Здесь живет рабочая аристократия, которая гонится за буржуазией. Что для этих равнодушных, законопослушных людей жизнь какого-то араба? Эти дома источают любовь к порядку. Я могу кричать, вопить, кто станет меня слушать? Если он

жив, то где он? Если он мертв, где его тело? Кто мне скажет? Вы взяли его жизнь, пусть так, но что вы сделали с его телом?

У Венсенских ворот бульвар кончается, и на перекрестке стрелами рвутся вверх новые светлые дома. Лоджии, задернутые синими или оранжевыми шторами, напоминают о послеполюденном зное, когда приятно, слушая пластинки, потягивать ледяную влагу из запотевшего бокала. Кому тут дело до Арезки?

Анри совсем снизил скорость. Перед нами грузовик, плюющийся дымом. Направо от меня Монтрей, с другой стороны — Рю-д'Аврон. Красочные дворы Центрального рынка. Я гляжу на горы фруктов, пирамиды овощей, и мои надежды все тают и тают. К горкам ранних плодов тянутся тысячи муравьев, создавая своего рода укрепленную линию перед прилавками.

На подъеме от Баньоле к воротам Лила машину зажимает между двух автобусов. На стройке у ворот Менильмонтан — перерыв, рабочие перекусывают. Не выйди завтра на работу один из них, явится пятьдесят, чтоб подхватить его лопату. Их так много, слишком много, неисчерпаемый, непрерывно обновляющийся резерв.

За воротами Лила, на повороте, ведущем вниз к Пре-Сен-Жерве, возникает бледный в жарком мареве силуэт Обервилье. На поросшей травой эспланаде странная одинокая церковь, в которую я охотно зашла бы, но Анри гонит восток. Лачуги рабочего Парижа, который приходит в Париж только ради 28 мая, появляются теперь только после ворот Пантен. Нет, этот Париж не опасен, его легко провести, он удовлетворяется малым.

Мы въезжаем в тоннель под воротами Ла Вилетт. Я понимаю, что больше никогда не увижу Арезки.

— Спасибо, Анри.

— Если вам что-нибудь понадобится, звоните мне. Я как-нибудь вечером зайду узнать о вашем друге. Не похоже, чтоб Анна хотела вас видеть в ближайшие дни, между тем ее следует оградить от одиночества. Что вы об этом думаете?

Я об этом ничего не думаю. Мне не до огорчений Анны. Анри не настаивает.

Я много спала. Сон приходил, я принимала его как успокоительное средство. Между двумя дремотами я зашла на завод и оформила увольнение. Увидеть снова конвейер, цех, пробудить тоску... Я не пошла дальше отдела кадров. Извещенный о моем приходе, спустился Жиль. Его сочувствие, сдержанное, потому что искреннее, меня тронуло, и все же я не заговорила с ним об Арезки. Он поразительно ясно, трезво говорил об уроках последних дней и смотрел в будущее, не отчаиваясь.

— Вы уезжаете домой, это окончательно?

Что мне оставалось делать? Я дала себе две недели: перед тем как сесть в поезд, я обойду всех, постучусь во все двери. Времена стыдливости миновали. Мне теперь ничего не стоило зайти в кафе, битком набитое мужчинами, расспрашивать, быть на виду, быть предметом пересудов. Я была к себе беспощадна. По моей вине, из-за моих колебаний и задних мыслей сорвались наши планы. Но как бы я себя ни упрекала, не в моей власти было изменить собственную природу. Арезки любил меня, зная все мои недостатки, и никогда, вероятно, не верил моим обещаниям. Он не торопил меня, рассчитывая, что время и физическая привязанность сделают свое дело.

Как-то вечером я пошла к его дяде. Он принял меня очень плохо. Он боялся неприятностей, говорил, что ничего не знает, не знает даже, что Арезки арестован. По его правой щеке, от глаз до носа, тянулся лиловый след. Кофейника не было видно. Я задумалась, где он прячет вино теперь.

Я еще раз вернулась к Ферату, но он не узнал ничего нового. Он усадил меня, принес оранжиаду, мы поговорили об Арезки, о войне. Его речь была ужасающе суха, и слова «пытки», «смерть», «страдание» в его устах лишились плоти. Он отдавал себе отчет в том, что и его арестуют, что и для него настанет черед собрать все силы, чтоб промолчать. В исчезновении Арезки не было ничего удивительного, оно было в порядке вещей, и только я одна билась лбом об стену, не желая этого признать.

— Я так думаю, они его «отправили» туда. Это худо. Живым мало кто добирается. А может, он где-нибудь здесь, в тюрьме? Как знать? Надо ждать! Возможно, у него были при себе какие-нибудь компрометирующие документы, но это меня удивило бы, он был слишком осторожен. Может, донес кто-нибудь? Есть ведь такие, которые не выдерживают. Нелегкое дело остаться с ними наедине, когда у тебя руки связаны... Это тебе не у стойки кафе... И свидетелей нет.

Я хотела оставить ему мой адрес, адрес бабушки, поскольку я уезжала. Он не взял.

— Никаких бумаг, никаких адресов! Это слишком опасно.

Наконец я встретила Мюстафу. Перед ним я осмелилась заплакать. Мое горе потрясло его. Он согласился взять мой адрес, и если когда-нибудь Арезки появится...

— Если я к этому времени не умру, — добавил он.

Мне оставалось задать ему один вопрос.

— Что значит Хауа?

— Как?

Я повторила, старательно выговаривая.

— Хауа? Это — Ева.

— Спасибо.

¹ Перевод М. Ваксмахера.

Когда я сообщила, что уезжаю, Анна тотчас осведомилась:

— А комната?

— Берите ее снова, если хотите!

По телефону она пришепetyвала больше обычного.

— Да, мне не нравится в Доме Женщины. Я скоро начну работать и...

— Приходите двадцать второго, я уложусь к этому времени и передам вам ключ.

— До скорого.

Она повесила трубку первая.

Анна только что ушла. Из комнаты и из моей жизни. Увижу ли я ее когда-нибудь?

Она извинилась:

— Я пришла рано, но не могла по-другому. Да, я беру ключ. Вы просто захлопнете дверь. Я вас никогда не забуду, Элиза. Да, я работаю. На сортировке писем. Я должна идти, автобусы в воскресенье ходят так редко. Я оставляю чемодан на стуле.

Ее ледяная рука дотронулась до меня.

Она только что закрыла за собой дверь. Я высовываюсь из окна и следую за ней глазами. Она переходит улицу и направляется к тупику, в противоположную сторону от остановки автобуса. Медленно, задним ходом, из тупика выкатывается машина. Машина Анри. Он отворяет дверцу, она садится.

На этот раз ее еще не поглотит черная бездна одиночества. Но за какую ветвь она уцепилась? Мне жаль ее. Ей суждено страдать. Анри в один прекрасный день бросит ее.

Люсьен останется кровоточащей раной в ее плоти и сердце.

«Вот ты через тридцать лет», — пошутил он когда-то, глядя на старую побирушку. С Анри она спасет несколько недель, несколько месяцев. Он будет приходить к ней в эту комнату. Управляющий протестовать не станет. На той же кровати они познают «свои четверть часа нежности». Анри для Анны бальзам на рану. Как и все ее любовники, сменявшие друг друга. Но после каждого мужчины рана неудавшейся жизни становится все глубже.

Чего же нам недостает? Какой силы? Где трещинка, не позволившая нам овладеть тем, что так легко назвать судьбой? В какой мере виноваты мы сами? Значит, прекрасные цветы, прораставшие в нас вместе с ядовитыми травами, только и сгодились что на надгробные венки. Все, что мы должны были защищать, все, что нам предстояло завоевать, теперь уже в прошлом. На наше место теперь встали Анри и ему подобные. Что сделают они с победой, если она попадет им в руки? Хочу забыть. Пусть отхлынет мысль, как взбаламученная вода отлива. Боль подстерегает меня, она притаилась в моем будущем, она спряталась в воспоминаниях; она меня ждет, чтоб ударить, но я обойду ее, меня голыми руками не возьмешь. Я изгоню из себя все, я убью память. И только надежда будет неугасимо тлеть под пеплом. Не знаю, откуда подует ветерок, от которого она разгорится. Не знаю, куда она поведет меня. Но я ее чувствую. Невнятную, неуловимую, смутную, но неугасимую надежду. Я уйду в себя, но я не умру.

Перевод с французского
Л. ЗОНИНОЙ

Клер Эчерли

ЭЛИЗА, ИЛИ НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ

Редактор П. АГЕЕВ

Художественный редактор Г. Андреева

Технический редактор Л. Платонова

Корректор М. Доценко

Сдано в набор 25/XI 1968 г. Подписано к печати 7/1 1969 г. А00602. Бумага 84 × 108^{1/16}. 5 печ. л. 8,4 усл. печ. л. 10,542 уч.-изд. л. Заказ № 212. Тираж 2 600 000 экз., 4-й завод: 1 650 001—2 200 000 экз. Цена 21 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, В-66, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.

Отпечатано в типографии «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.
Заказ № 2095.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

В 4 И 5 НОМЕРАХ „РОМАН-ГАЗЕТЫ“

ЧИТАЙТЕ:

СЕМЕН БАБАЕВСКИЙ
„БЕЛЫЙ СВЕТ“

РОМАН

Новое произведение С. Бабаевского посвящено проблемам современности. Главный герой книги секретарь обкома партии Алексей Фомич Холмов оказывается на пенсии. Привыкший к активной деятельности, он не может предаваться спокойной отпускной безмятежности, посвятить себя созерцанию красот моря или заботам о пчелиной пасеке, как это делали некоторые из его братьев по положению. Его тянет, неудержимо влечет к народу, к тем, кому были отданы все годы сознательной жизни. И писатель отправляет своего героя «по белу свету».

Способ путешествия Холмова несколько необычен, но в этом есть большой резон. Неторопливое хождение героя позволяет ему, а вместе с ним и читателю, хорошо, во множестве деталей увидеть Прикубанье, ближе познакомиться с его людьми.

Роман «Белый свет» в значительной мере произведение о стиле партийного руководства, о том, каким должен быть руководитель-коммунист в наши дни, человек, облеченный высоким доверием, несущий на себе громадную ответственность.